

Александр Дюма-сын Дама с камелиями

Андре Моруа
Из книги „Три Дюма“

Под роскошными камелиями я увидел скромный голубой цветок.

Эмиль Анрио

<...>Дюма-отец сказал однажды Дюма-сыну: «Когда у тебя родится сын, люби его, как я люблю тебя, но не воспитывай его так, как я тебя воспитал». В конце концов Дюма-сын стал принимать Дюма-отца таким, каким его создала природа: талантливым писателем, отличным товарищем и безответственным отцом. Молодой Александр твердо решил добиться успеха самостоятельно. Он, конечно, будет писать, но совсем не так, как Дюма-отец. Нельзя сказать, чтобы он не восхищался своим отцом, но он любил скорее отцовской, нежели сыновней любовью.

«Мой отец, – говорил он, – это большое дитя, которым я обзавелся, когда был еще совсем маленьким». Таким вставал перед ним отец из рассказов его матери, мудрой Катрины Лабе, которая, чтобы зарабатывать на жизнь, содержала теперь небольшой читальный зал на улице Мишодьер. Она не затаила обиды на своего ветреного любовника, но и не питала на его счет никаких иллюзий.

У сыновей часто вырабатывается обратная реакция на недостатки отцов. Дюма-сын ценит ум и талант Дюма-отца, но его оскорбляют некоторые смешные черты отца. Он страдает, слушая его наивно-хвастливые рассказы. Образ жизни в отцовском доме, где вечно мечутся в поисках ста франков, внушает ему неосознанное стремление к материальной обеспеченности. Да и потом стариковское донжуанство всегда раздражает молодежь. «Я выступаю в роли привратника твоей славы, – сказал однажды Александр Дюма-сын Александру Дюма-отцу, – обязанности которого заключаются в том, чтобы впускать к тебе посетителей. Стоит мне подать руку женщине, как она просит познакомить ее с тобой».

К этому времени, чтобы не путать, их уже начали называть Александр Дюма-отец и Александр Дюма-сын, что очень возмущало старшего.

«Вместо того чтобы подписываться Алекс[андр] Дюма, как я, – что в один прекрасный день может стать причиной большого неудобства для нас обоих, так как мы подписываемся одинаково, – тебе следует подписываться Дюма-Дави. Мое имя, как ты понимаешь, слишком хорошо известно, чтобы тут могло быть два мнения, – и я не могу прибавлять к своей фамилии „отец“: для этого я еще слишком молод...»

В двадцать лет Дюма-сын был красивым молодым человеком, с гордой осанкой, полным сил и здоровья. В высоком, широкоплечем, с правильными чертами лица юноше ничто, кроме мечтательного взгляда и слегка курчавой светло-каштановой шевелюры, не выдавало правнука черной рабыни из Сан-Доминго. Он одевался как денди или как «лев», по тогдашнему выражению: суконный сюртук с большими отворотами, белый галстук, жилет из английского пике, трость с золотым набалдашником. Счета портного оставались неоплаченными, но молодой человек держался высокомерно и сыпал остротами направо и налево. Однако под маской пресыщенности угадывался серьезный и чувствительный характер, унаследованный им от Катрины Лабе; Дюма-сын скрывал эту сторону своей натуры.

В сентябре 1844 года отец и сын поселились на вилле «Медичи» в Сен-Жермен-ан-Лэ. Там оба работали и оказывали самое радушное гостеприимство друзьям. Дюма-сын приглашал их любезными посланиями в стихах:

Коль ветер северный не очень вас пугает,
То знайте, вас прием горячий ожидает
Здесь, в Сен-Жермен-ан-Лэ, где, право же, давно
Хотели б видеть вас отец и сын его.

Однажды по дороге в Сен-Жермен Дюма-сын встретил Эжена Дежазе, сына знаменитой актрисы. Молодые люди взяли напрокат лошадей и совершили прогулку по лесу, затем вернулись в Париж и отправились в театр «Варьете». Стояла ранняя осень. Париж был пуст. В «Комеди-Франсез» «молодые, еще никому не известные дебютанты играли перед актерами в отставке старые, давно забытые пьесы», – писала Дельфина де Жирарден. В залах Пале-Рояля и «Варьете» можно было встретить красивых и доступных женщин.

Эжен Дежазе питал так же мало уважения к общепринятой морали, как и Дюма-сын. Баловень матери, он был гораздо менее стеснен в средствах, чем его друг. Молодые люди в поисках приключений лорнировали прелестных девиц, занимавших авансцену и ложи «Варьете». Красавицы держались с простотой, присущей хорошему тону, носили роскошные драгоценности, и их с успехом можно было принять за светских женщин. Их было немного – знаменитые, известные всему Парижу, эти «высокопоставленные кокетки» образовывали галантную аристократию, которая резко отличалась от прослойки лореток и гризеток.

Хотя все они и были содержанками богатых людей (а на что же жить?), они мечтали о чистой любви. Романтизм наложил на них свой отпечаток. Виктор Гюго реабилитировал Марион Делорм и Жюльетту Друэ. Общественное мнение охотно оправдывало куртизанку, если причиной ее падения была преступная страсть или крайняя бедность. Куртизанки и сами были не чужды сентиментальности. Большинство из них начинало жизнь простыми работницами: чтобы стать честными женщинами, им не хватило одного – встретить на своем пути хорошего мужа. Достаточно было прогулки в Тиволи, посещения зарешеченной ложи в Амбигю, кашемировой шали и драгоценной безделушки, чтобы перейти в разряд содержанок. Но, даже став продажными женщинами, они сохраняли тоску по настоящей любви. Жорж Санд умножила число непонятных женщин, мечтающих о «вечном экстазе». Все это объясняет, почему два юных циника в «Варьете» смотрели не только на соблазнительные белоснежные плечи куртизанок, но и вглядывались в их глаза, светящиеся нежностью и грустью.

В этот вечер в одной из лож авансцены сидела женщина, в то время славившаяся красотой, вкусом и теми состояниями, которые она пожирала. Звали ее Альфонсна Плесси, но она предпочитала именовать себя Мари Дюплесси. «Она была, – пишет Дюма-сын, – высокой, очень изящной брюнеткой с бело-розовой кожей. Головка у нее была маленькая, продолговатые глаза казались нарисованными, эмалью, как глаза японок, но только смотрели они живо и гордо; у нее были красные, словно вишни, губы и самые прелестные зубки на свете. Вся она напоминала статуэтку из саксонского фарфора...» Узкая талия, лебединая шея, выражение чистоты и невинности, байроническая бледность, длинные локоны, ниспадавшие на плечи на английский манер, декольтированное платье из белого атласа, бриллиантовое кольцо, золотые браслеты – все это делало ее царственно прекрасной. Дюма был ослеплен, поражен в самое сердце и покорен.

Ни одна женщина в театре не могла соперничать с ней в благородстве наружности, и тем не менее предки Мари Дюплесси, кроме одной из ее бабок, Анны дю Мениль, происходившей из дворянского нормандского рода и совершившей мезальянс, были лакеями и крестьянами. Ее отец, Марен Плесси, человек мрачный и злобный, считался в деревне колдуном. Он женился на Мари Дезайес, дочери Анны дю Мениль, которая родила ему двух дочерей, а потом сбежала от него. Альфонсина родилась в 1824 году; она была одних лет с Дюма. Она не получила никакого образования и до пятнадцати-шестнадцати лет свободно бегала по полям. Потом отец – во всяком случае так рассказывают – продал Мари цыганам, которые увезли ее в Париж и отдали в обучение к модистке. Гризетка, зачитывавшаяся романами Поля де Кока, она танцевала со студентами во всех значных уголках Парижа, а по воскресеньям в Монморенси охотно позволяла увлекать себя в темные аллеи. Ресторатор Пале-Рояля, который однажды свозил ее в Сен-Клу, меблировал для нее небольшую квартиру на улице Аркад, но почти сразу же вынужден был уступить Мари герцогу

Аженору де Гишу, элегантному студенту политехнической школы, который в 1840 году ушел из армии для того, чтобы стать одним из предводителей «модных львов» Итальянского бульвара и «Антином 1840 года». Через неделю у «Итальянцев» и в знаменитой «инфернальной ложе» авансцены № 1 Оперы, своего рода филиале Жокей-клуба, только и говорили что о новой любовнице молодого герцога.

Молодой красавицей увлекались самые блестящие мужчины Парижа: Фернан де Монгион, Анри де Контад, Эдуард Делессер и десятки других. Знатные любовники привили ей изящные манеры и культуру, хоть и поверхностную, но весьма приятную. Под руководством лучших наставников одаренная и чувствительная девушка расцвела. В 1844 году, когда Дюма-сын с ней познакомился, в ее библиотеке были Рабле, Сервантес, Мольер, Вальтер Скотт, Дюма-отец, Гюго, Ламартин и Мюссе. Она превосходно знала произведения этих авторов, любила поэзию. Ее обучали музыке, и она с чувством играла на пианино баркаролы и вальсы.

Короче говоря, она с головокружительной быстротой шла в гору, окруженная все более изысканной роскошью. В 1844 году она считалась самой элегантной женщиной Парижа и соперничала с Алисой Ози, Лолой Монтес и Аталой Бошен. У нее можно было встретить не только «львов» Жокей-клуба, но и Эжена Сю, Роже де Бовуара, Альфреда де Мюссе. Все испытывали к ней восхищение, смешанное с уважением и жалостью, потому что она была явно выше своей постыдной профессии. Почему она ею занималась? Во-первых, потому, что привыкла тратить сто тысяч франков золотом в год, а во-вторых, потому, что, больная, лихорадочно-возбужденная, вечно недовольная собой, она могла забыться лишь в наслаждении.

В тот вечер в ложе «Варьете» с Мари сидел дряхлый старик граф Штакельберг, бывший русский посол. Позже она рассказала Дюма, что этот выживший из ума старик взял ее на содержание потому, что она напоминала ему умершую дочь. Выдумка чистой воды. «Граф, несмотря на свой преклонный возраст, искал в Мари Дюплесси не Антигону, как Эдип, а Вирсавию, как Давид». Он поселил ее в доме № 11 по бульвару Мадлен, подарил ей двухместную голубую карету и двух чистокровных лошадей. Благодаря ему и другим поклонникам квартира Мари Дюплесси была всегда украшена цветами, и не только камелиями, а всеми цветами, какие только можно было достать в это время года. Она, однако, боялась роз, от запаха которых у нее кружилась голова; больше всего она любила камелии, эти цветы без запаха. «Ее заточили, – писал Арсен Гуссе, – в крепость из камелий...»

Мари Дюплесси старалась жестами привлечь внимание толстой женщины, с которой Дюма был слегка знаком, – немного модистки, а преимущественно сводни, по имени Клеманс Пра. Эжен Дежазе хорошо знал эту особу, которая тоже жила на бульваре Мадлен и была соседкой Мари Дюплесси. Мари села в свою карету и покинула «Варьете», не дожидаясь конца спектакля. Немного погодя фиакр высадил Дюма, Дежазе и Клеманс Пра у дверей дома Клеманс, где они должны были ждать дальнейшего развития событий. В романе «Дама с камелиями» Дюма рассказывает об этой сцене, но там он превратил Штакельберга в «старого герцога», а Клеманс Пра назвал Прюданс Дювернуа.

«– Старый герцог сейчас у вашей соседки? – спросил я Прюданс.

– Нет, она должна быть одна.

– Но ей, наверное, ужасно скучно!

– Мы часто проводим вечера вместе. Когда она возвращается, она зовет меня к себе. Она обычно не ложится до двух часов ночи. Она не может раньше заснуть.

– Почему?

– Потому что у нее больные легкие и ее почти всегда лихорадит».

Вскоре Мари крикнула из своего окна Клеманс, чтобы та пришла и освободила ее от докучливого гостя, графа N, который до смерти ей надоел.

– Никак не могу, – сказала Клеменс Пра. – У меня сидят два молодых человека: сын Дежазе и сын Дюма.

– Берите их с собой. Я буду рада кому угодно, лишь бы избавиться от графа. Приходите ско-

рее!

Все трое поспешили на ее зов и застали в гостиной соседнего дома Мари за фортепьяно и графа, прислонившегося к камину.

Она любезно приняла молодых людей, а с графом обращалась так грубо, что он вскоре отклонялся. Мари сразу развеселилась. За ужином все много смеялись, но Дюма было грустно. Он восхищался бескорыстием этой женщины, которая прогнала богатого поклонника, готового ради нее разориться; он страдал, видя, как это возвышенное существо пьет без удержу, «ругается, как грузчик, и тем охотнее смеется, чем непристойнее шутки». От шампанского ее щеки полыхали лихорадочным румянцем. К концу ужина она зашла в кашле и убежала.

– Что с ней? – спросил Эжен Дежазе.

– Она слишком много смеялась, и у нее началось кровохарканье, – ответила Клеманс Пра.

Дюма пошел к больной. Она лежала, уткнувшись лицом в софу. Серебряный таз, в котором виднелись сгустки крови, стоял на столе.

«Я приблизился к ней, но она не обратила на меня никакого внимания; я сел и взял ее руку, лежащую на диване.

– Ах, это вы? – сказала она с улыбкой. – Разве вы тоже больны?

– Нет, но вы... вам все еще плохо?

– Ничего, я уже к этому привыкла.

– Вы себя убиваете, – сказал я ей взволнованным голосом, – мне хотелось бы быть вашим другом, вашим родственником, чтобы помешать вам губить себя.

– Чем объяснить такую преданность моей особе?

– Той непреодолимой симпатией, которую я питаю к вам.

– Значит, вы в меня влюблены? Так скажите об этом прямо, это проще.

– Если я и признаюсь вам в любви, то не сегодня.

– Лучшее будет, если вы этого никогда не сделаете.

– Почему?

– Потому что это может привести только к двум вещам.

– К каким?

– Либо я вас отвергну, и тогда вы на меня рассердитесь, либо сойду с вами, и тогда у вас будет незавидная любовница: женщина нервная, больная, грустная, а если веселая, то печальным весельем. Подумайте только, женщина, которая харкает кровью и тратит сто тысяч франков в год! Это хорошо для богатого старика, но очень скучно для такого молодого человека, как вы... Все молодые любовники покидали меня.

Я ничего не ответил, я слушал. Эта ужасная жизнь, от которой бедная девушка бежала в распутство, в пьянство и в бессонницу, произвела на меня такое впечатление, что я не находил слов.

– Однако, – продолжала она, – мы говорим глупости. Дайте мне руку, и вернемся в столовую».

Почему она стала его любовницей? Он был беден, а страстные признания в любви ей доводилось выслушивать не меньше десяти раз на дню. Но он продолжал свои атаки с пламенным упорством. «Эта смесь веселости, печали, искренности, продажности и даже болезни, которая развивалась в ней не только повышенную раздражительность, но и повышенную чувственность, возбуждали страстное желание обладать ею...» В ней жила трогательная непосредственность, «временами она страстно рвалась к более спокойной жизни... Пылкая, она легко поддавалась искушению и была падка на наслаждения, но при этом не теряла гордости и сохраняла достоинство даже в падениях».

Молодому Дюма не были чужды благородные порывы: любовь к матери научила его жалеть всех женщин, несправедливо выброшенных из общества. Чистосердечный, несмотря на всю свою пресыщенность, он сочувствовал их горестям, умел вызывать их на откровенность и угадывал слезы под маской притворного веселья. К куртизанкам он был бесконечно снисходителен. Он считал

их не преступницами, а жертвами. Они были благодарны ему за то уважение, которое он им выказывал в их унижении. И нет никакого сомнения, что именно это привлекало к нему Мари Дюплесси. Однажды она сказала ему: «Если вы пообещаете беспрекословно выполнять все мои желания, не делать мне никаких замечаний, не задавать никаких вопросов, то, быть может, в один прекрасный день я соглашусь вас полюбить...»

Какой юноша в двадцать лет откажется дать такое невыполнимое обещание? И на время Мари бросила почти всех своих богатых покровителей ради этого серьезного и красивого «пажа». Ей доставляло удовольствие, вновь превратившись в гризетку, гулять с ним по лесу или по Елисейским полям. В ее комнате, «где на возвышении стояла великолепная кровать работы Буля, ножки которой изображали фавнов и вакханок», она давала ему упоительные «празднества плоти». Ах как ему нравились ее огромные глаза, окруженные черными кругами, ее невинный взгляд, гибкая талия и «сладострастный аромат, которым было пронизано все ее существо»!

Дюма-отец рассказывает о том, каким образом сын поведал ему о своей победе.

«Проследуйте за мной во Французский театр, там в этот вечер давали, кажется, „Воспитанниц Сен-Сирского дома“. Я шел по коридору, когда дверь одной из лож бенуара отворилась и я почувствовал, что меня хватают за фалды фрака. Обращиваюсь. Вижу – Александр.

– Ах это ты! Здравствуй, голубчик!

– Войдите в ложу, господин отец.

– Ты не один?

– Вот именно. Закрой глаза, а теперь просунь голову в щелку, не бойся, ничего худого с тобой не случится.

И действительно, не успел я закрыть глаза и просунуть голову в дверь, как к моим губам прижались чьи-то трепещущие, лихорадочно горячие губы. Я открыл глаза. В ложе была прелестная молодая женщина лет двадцати – двадцати двух. Она-то и наградила меня этой отнюдь не дочерней лаской. Я узнал ее, так как до этого видел несколько раз в ложах авансены. Это была Мари Дюплесси, дама с камелиями.

– Это вы, милое дитя? – сказал я, осторожно высвобождаясь из ее объятий.

– Да, я. А вас, оказывается, надо брать силой? Ведь мне хорошо известно, что у вас совсем иная репутация, так почему же вы столь жестоки ко мне? Я уже два раза писала вам и назначала свидания на балу в Опера...

– Я полагал, что ваши письма адресованы Александру.

– Ну да, Александру Дюма.

– Я полагал, Александру Дюма-сыну.

– Да бросьте вы! Конечно, Александр – Дюма-сын. Но вы вовсе не Дюма-отец. И никогда им не станете.

– Благодарю вас за комплимент, моя красавица.

– И все-таки почему вы не пришли? ... Я не понимаю.

– Я вам объясню. Такая красивая девушка, как вы, приглашает на любовное свидание мужчину моих лет лишь в том случае, если ей что-нибудь от него нужно. Итак, чем могу быть вам полезен? Я предлагаю вам свое покровительство и освобождаю вас от своей любви.

– Ну, что я тебе говорил! – воскликнул Александр.

– Тогда, я надеюсь, вы разрешите, – сказала Мари Дюплесси с очаровательной улыбкой и взмахнула длинными черными ресницами, – еще навестить вас, сударь?

– Когда вам будет угодно, мадемуазель...

Я поклонился ей так низко, как поклонился бы только герцогине. Дверь закрылась, и я очутился в коридоре. В тот день я в первый раз целовал Мари Дюплесси. В тот день я видел ее последний раз. Я ждал Александра и прекрасную куртизанку. Но спустя несколько дней он пришел один.

– В чем дело? – спросил я его. – Почему ты ее не привел?

– Ее каприз прошел: она хотела поступить в театр. Все они об этом мечтают! Но в театре надо учить роли, репетировать, играть – это тяжкий труд... А ведь куда легче встать в два часа пополудни, не спеша одеться, сделать круг по Булонскому лесу, вернуться в город, пообедать в кафе де Пари или у «Братьев-провансальцев», а оттуда отправиться в Водевиль или Жимназ, провести вечер в ложе, после театра поужинать и вернуться часам к трем утра к себе или отправиться к кому-нибудь, чем заниматься тем, что делает мадемуазель Марс. Моя дебютантка уже забыла о своем призвании... И потом, мне кажется, она очень больна.

– Бедняжка!

– Да, ты прав, что жалеешь ее. Она гораздо выше того ремесла, которым вынуждена заниматься.

– Надеюсь, ты испытываешь к ней не любовь?

– Нет, скорее жалость, – ответил Александр.

Больше я никогда не разговаривал с ним о Мари Дюплесси...»

Дюма-сын придерживался гораздо более строгих правил, чем Дюма-отец. Мари Дюплесси читала «Манон Леско». И она хотела заставить этого красивого юношу играть при ней роль Де Грие. Он отказался. А чего бы он хотел? Перевоспитать ее? Заставить изменить свой образ жизни? Она, возможно, смогла бы это сделать, так как была скорее сентиментальна, чем корыстна. Дюма сам сказал о Мари: «Она была одной из последних представительниц той редкой породы куртизанок, которые обладали сердцем». Но суммы, потраченной на один вечер с Мари – билеты в театр, камелии, конфеты, ужин, всевозможные прихоти, – было достаточно, чтобы разорить молодого Александра. Он мало зарабатывал и был вынужден беспрестанно обращаться к отцу, который, хотя и сам часто сидел без денег, все же давал ему время от времени записку на имя госпожи Порше – билетерши, продававшей его билеты, с просьбой выдать сыну сто франков.

Александр Дюма-сын – госпоже Порше:

«Вы сказали, сударыня: „Потерпите несколько дней“. Но это равносильно тому, что попросить человека, которому вот-вот отрубят голову, сплясать ригодон или сочинить каламбур. Да через несколько дней я стану миллионером! Я получу пятьсот франков. Если я обращаюсь к вам, если я надоедаю вам своими просьбами, так это потому, что впал в такую нищету, что мог бы дать несколько очков вперед Иову, а ведь он был самым бедным человеком древности. Если вы не пришлете мне с моим посланцем сто франков, я покупаю на последние гроши кларнет и пуделя и начинаю давать представления под окнами вашего дома, написав большими буквами на животе: „Подайте литератору, оставленному милостями госпожи Порше!“ Хотели бы вы, чтоб я представил вам о качестве залога свою голову? Чтоб я кричал: „Да здравствует республика!“? Чтоб я женился на мадемуазель Моралес? Или бы вы предпочли, чтоб я отправился в Одеон, чтоб я восхищался талантом Кашарди, носил складные шляпы? Что бы вы мне ни приказали, я все выполню – только пришлите мне эти сто франков. И еще лучше, если пришлете побольше.

Ваши покорнейший слуга А. ДЮМА

Мне совершенно безразлично, пришлете вы эти сто франков серебром или банковскими билетами, так что не утруждайте себя».

Каждое утро Мари Дюплесси присылала ему приказ на день: «Дорогой Аде...» Из инициалов своего любовника она сделала прозвище. Вечером он заезжал за ней. Они обедали, ехали в театр, потом снова возвращались в будуар Мари, где в огромных китайских вазах стояли цветы без запаха. «Однажды, – писал он, – я ушел от нее в восемь часов утра, и вскоре настал день, когда я ушел от нее в полдень».

Вы помните ль еще те ночи? Страсть пылала.
И поцелуи жгли, и обрывался стон.
Вас лихорадило. Потом глаза устало
Вы закрывали вдруг и погружались в сон.

(А. Дюма-сын. «Грехи юности»)

Часто она не могла заснуть, выходила из спальни в пеньюаре из белой шерсти, накинутом на голое тело, «садилась на ковер перед камином и грустно следила за игрой пламени в очаге». В такие минуты Дюма страстно любил ее. В другие он боялся оказаться обманутым. Он знал, что она часто лжет ему, возможно из деликатности. Штакельберг по-прежнему занимал какое-то место в ее жизни, так же как и человек более молодой – Эдуард Перрего, по отцу – внук знаменитого финансиста, председателя Французского банка, по матери – герцога Тарентского. На розовой бумаге, сложенной треугольником, Мари Дюплесси писала ему: «Вы доставили бы мне большое удовольствие, дорогой Эдуард, если бы посетили меня сегодня вечером в „Водевиль“ (ложе № 29). Не могу пообедать с тобой: чувствую себя очень плохо». И на бледно-голубой бумаге: «Нет, дорогой, сегодня в „Варьете“ будет совершенно необычное представление по случаю бенефиса Буффе... Ты доставишь мне большое удовольствие, если сможешь добыть для меня ложу. Ответь мне, дорогой друг, тысячу раз целую твои глаза...»

Неду она говорила: «Сегодня я проведу вечер с Зелией» – и проводила его с Дюма. С Дюма же она играла роль кающейся грешницы. Когда однажды у нее спросили, почему она так любит лгать, она расхохоталась и ответила: «От лжи зубы белеют». Она тщательно пыталась «примирить любовь и дела».

И для Дюма вслед за несколькими днями счастья потянулись долгие месяцы подозрений, тревог и угрызений совести. Он полагал, что разрывается между Любовью и Честью. Сколько суетности скрывают эти слова с большой буквы!

К исходу второго месяца ласки сменились упреками. Теперь он реже видел Мари. Она чувствовала, что он отдаляется.

«Дорогой Аде, – писала она, – почему ты не даешь о себе знать и почему ты не напишешь мне обо всем искренне? Мне кажется, что ты мог бы относиться ко мне как к другу. В ожидании вестей нежно целую тебя, как любовница или как друг – по твоему выбору. И в любом случае остаюсь преданной тебе Мари».

30 августа 1845 года он решил порвать с ней.

Александр Дюма-сын – Мари Дюплесси:

«Дорогая Мари, я не настолько богат, чтобы любить вас так, как мне хотелось бы, и не настолько беден, чтобы быть любимым так, как хотелось бы вам. И поэтому давайте забудем оба: вы – имя, которое вам было, видимо, почти безразлично, я – счастье, которое мне больше недоступно. Бесполезно рассказывать вам, как мне грустно, потому, что вы и сами знаете, как я вас люблю. Итак, прощайте. Вы слишком благородны, чтобы не понять причин, побудивших меня написать вам это письмо, и слишком умны, чтобы не простить меня. С тысячью лучших воспоминаний.

А. Д. 30 августа. Полночь».

Когда художник расстается с любимой женщиной, любовь начинает новую жизнь в его воображении. Исчезнувшая Мари постоянно занимала мысли Аде.

18 октября 1846 года Дюма-сын, которого преследовали воспоминания о Мари Дюплесси, написал ей из Мадрида, умоляя простить его. Он раскаивался в несправедливой суровости.

«Мутье приехал в Мадрид и сказал мне, что, когда он покидал Париж, вы были больны. Разрешите мне присоединиться к числу тех, кого глубоко огорчают ваши страдания.

Через неделю после того, как вы получите это письмо, я буду в Алжире. Если я получу на почте хотя бы записочку от вас, в которой мне будет даровано прощение за то, что я совершил почти год назад, я возвращусь во Францию менее грустным, если вы отпустите мне грехи, и совершенно счастливым, если найду вас в добром здравии.

Ваш друг А. Д.».

На письмо из Мадрида молодой Дюма не получил никакого ответа, и вот почему.

Мари никогда не хотела разрыва с ним. Но она «привыкла к тому, что все ее привязанности попираются, привыкла заключать мимолетные связи, переходить от одной любви к другой и постепенно стала, – пишет Жюль Жанен, – ко всему безразличной. О сегодняшней любви она помышляла не больше чем о завтрашней страсти». Безразличной? Нет, скорее смилившейся. Она «тосковала по тишине, покою и любви. У нее была душа гризетки, которая приспособлялась, как могла, к телу куртизанки». Куртизанка старалась привлечь богатых любовников: Штакельберга, Перрего; гризетка искала друга сердца, который мог бы заменить ей Аде.

И она нашла Ференца Листа, которого ей представил в ноябре 1845 года лечивший ее доктор Корев, странная личность, похожая на персонажей Гофмана, полушарлатан, полугений. Лист – великий музыкант, «прекрасный, как полубог», – только что порвал свою продолжительную связь с Мари Агу.

Он был одним из наиболее заметных людей своего времени. «Мадемуазель Дюплесси вас хочет, и она вас завоюет», – сказал Жанен виртуозу.

Она и впрямь завоевала его, и он никогда не смог ее забыть. «Вообще мне не нравятся такие женщины, как Марион Делорм или Манон Леско. Но эта была исключением. Она отличалась удивительной добротой...» И все же Лист отказался связать свою жизнь с прекрасной куртизанкой и даже не пожелал поехать путешествовать с ней по Востоку, чего ей очень хотелось.

Эдуард Перрего пригласил Мари в другое путешествие, весьма неожиданного свойства. Он увез ее в Лондон и там 21 февраля 1846 года сочетался с ней гражданским браком перед регистратором графства Мидлсекс. Она стала графиней Перрего... Но при заключении брака, по всей вероятности, не были соблюдены все формальности, так как церковное оглашение не было опубликовано. Он не мог считаться действительным во Франции, потому что не был утвержден французским генеральным консулом в Лондоне, как того требовал закон. К тому же по возвращении в Париж супруги по взаимному согласию вернули друг другу свободу. Так к чему же тогда этот необъяснимый брак?... Возможно, Перрего надеялся крепче привязать к себе Мари Дюплесси; возможно, он хотел удовлетворить прихоть умирающей: у Мари к тому времени развилась скоротечная чахотка, и она знала, что дни ее сочтены. Лондонская свадьба *in extremis*¹ позволила ей заказать на дверцы своей кареты гербовые щиты. «Лишь самые интимные друзья, самые надежные наперсники» знали, что она имеет на это право. У поставщиков, которым она задолжала, вошло в привычку адресовать счета на имя «графини Дюплесси».

Но на самом деле она к этому времени чувствовала себя слишком плохо, чтобы быть по-прежнему женой или любовницей. «Волнующая бледность» ее щек сменилась лихорадочным румянцем. Она пыталась искусственно возродить свою былую красоту при помощи блеска драгоценностей. Она разъезжала по модным курортам, переселялась из Спа в Эмс – восхитительная танцовщица, Мари продолжала вызывать восхищение, но с каждым новым местом ее состояние только ухудшалось. В счетах отелей стоит: «Молоко... Вливания...»

Мари Дюплесси – Эдуарду Перрего:

¹ В последний момент (лат.).

«Я молю вас на коленях, дорогой Эдуард, простить меня. Если вы меня еще любите, напишите мне всего два слова, слова прощения и дружбы. Напишите мне до востребования, Эмс, герцогство Нассау. Я здесь одинока и очень больна. Итак, дорогой Эдуард, скорее – прощение. До свидания».

По возвращении в Париж Мари в течение нескольких недель еще появлялась на балах – лишь призрак, тень своей былой красоты. Потом настал день, когда она уже не смогла более покидать квартиру на бульваре Мадлен. Ей минуло двадцать три года, и она была обречена. И вот в ее комнате появились «налой², крытый трипом³», и «две позолоченные Девы Марии». Иногда по вечерам, надев белый пеньюар и обмотав голову красной кашемировой шалью, она садилась у окна и наблюдала, как светские дамы и кавалеры направляются ужинать после театра.

Так как она не могла больше зарабатывать деньги своим истощенным телом, ей пришлось продать одну за другой почти все драгоценности, которые она так любила. Когда она умирала, из всех украшений у нее оставались лишь два браслета, одна коралловая брошь, хлысты и два маленьких пистолета. Эдуарда Перрего, пришедшего навестить ее, она не приняла. Она умерла 3 февраля 1847 года, в самый разгар карнавала, за несколько дней до масленицы, которую Париж в те времена бурно праздновал. Шум веселья врывается в окна маленькой квартирки, где лежала в агонии Мари Дюплесси. Викарий церкви святой Магдалины пришел причастить ее, затем, перекусив, отправился восвояси. «На ветчину для священника, – записала в книге расходов горничная, – два франка».

5 февраля 1847 года толпа любопытных следовала за погребальным катафалком, «украшенным белыми венками». За дрогами, обнажив головы, шли лишь двое из прежних друзей Мари Дюплесси: Эдуард Перрего и Эдуард Делессер. Мари похоронили временно на Монмартрском кладбище, потом, 16 февраля, в жирный четверг, тело ее эксгумировали и предали земле на участке, приобретенном Эдуардом Перрего за 526 франков в вечную собственность.

В этот день «низко нависшее небо было темным и мрачным, к полудню небеса разверзлись и потоки ливня хлынули на маскарадное шествие, а ночью во всех уголках Парижа сотни разбушевавшихся оркестров с помпой провожали карнавал».

Дюма-сын, путешествовавший по Алжиру и Тунису, ничего не знал о долгой агонии своей бывшей возлюбленной. Возвращаясь во Францию, он много думал о Мари. Он никогда не переставал любить эту редкую и трогательную женщину. «Память о наших ночах преследовала меня, куда бы я ни шел», – писал он. Что, впрочем, отнюдь не мешало ему не отказываться от приключений, выпадавших на его долю во время путешествия. Из Туниса он вернулся в Алжир, чтобы встретить там Новый год. 3 января 1847 года пассажиры «Велоса» («Стремительного») пересели на пакетбот «Ориноко», 4-го они прибыли в Тулон, на следующий день – в Марсель. Оттуда Дюма-отец поспешил в Париж, куда его призывали дела Исторического театра. Дюма-сын соблазнился гостеприимством д'Отрана, Мери и возможностью закончить вдали от Парижа плутовской роман «Приключения четырех женщин и одного попугая», о выходе которого уже объявил издатель Кадо.

О смерти Мари он узнал в Марселе. Это известие повергло его в грусть и раскаяние. Нельзя сказать, что он плохо обошелся с Мари, но он был слишком суров, а следовательно, несправедлив к бедной девушке, чья жизнь была столь тяжелой, что ее ни в чем нельзя винить. Недовольный собой, он решил с жаром взяться за работу и расплатиться со всеми долгами. Но такую клятву гораздо легче дать, чем сдержать. Когда он возвратился в Париж, ему в глаза бросилось объявление, возвещавшее о посмертной продаже мебели и «предметов роскоши» в доме № 11 по бульвару

² НАЛОЙ м. род столика или поставца на ножках, с пологою столешницею, церк. аналогий; в домах, для разложения книг и нот, налой называют и горкою, попитром и читалкою; есть и складные налойцы. Налойный, к налою относящийся.

³ ТРИП, трипа, мн. нет, м. (фр. tripe) (спец.). Шерстяная ворсистая ткань, шерстяной бархат. Триповый диван, обитый им.

Дама с камелиями
Александр Дюма-сын

Мадлен. Лиц, желающих что-нибудь приобрести, приглашали посетить квартиру, где была выставлена вся движимость. Дюма-сын помчался туда. Он вновь увидел мебель розового дерева, бывшую некогда свидетельницей его короткого счастья, тончайшее белье, облекавшее нежное и прелестное тело, платья покойницы, за право обладать которыми будут спорить так называемые порядочные женщины. Он был потрясен и, возвратившись домой, написал свое лучшее стихотворение:

Расстался с вами я, а почему – не знаю,
Ничтожным повод был: казалось мне, любовь
К другому скрыли вы... О суета земная!
Зачем уехал я? Зачем вернулся вновь?

Потом я вам писал о скором возвращенье,
О том, что к вам приду и буду умолять,
Чтоб даровали вы мне милость и прощенье.
Я так надеялся увидеть вас опять!

И вот примчался к вам. Что вижу я, о боже!
Закрытое окно и запертую дверь.
Сказали люди мне: в могиле черви гложут
Ту, что я так любил, ту, что мертва теперь.

Один лишь человек с поникшей головою
У ложа вашего стоял в последний час.
Друзья к вам не пришли. Я знаю: только двое
В последнем шествии сопровождали вас.

Благословляю их. Они одни посмели
С презреньем отнестись к тому, что скажет свет,
Умершей женщине не на словах – на деле
Отдав последний долг во имя прошлых лет.

Те двое до конца ей верность сохраняли,
Но лорд ее забыл, и князь прийти не мог;
Они ее любовь за деньги покупали
И не могли купить надгробный ей венок.

Чарлз Диккенс присутствовал на аукционе. «Там собрались все парижские знаменитости, – писал он графу д'Орсе. – Было много великосветских дам, и все это избранное общество ожидало торгов с любопытством и волнением, исполненное симпатии и трогательного сочувствия к судьбе девки... Говорят, она умерла от разбитого сердца.

Что до меня, то я, как грубый англосакс, наделенный малой толикой здравого смысла, склонен думать, что она умерла от скуки и пресыщенности... Глядя на всеобщую печаль и восхищение, можно подумать, что умер национальный герой или Жанна д'Арк. А когда Эжен Сю купил молитвенник куртизанки, восторгу публики не было конца».

Диккенс, несмотря на свою сентиментальность, был, как он сам признавал, слишком англосаксом, чтобы его могла тронуть участь женщины легкого поведения. Дюма же купил «на память» золотую цепочку Мари. Распродажа дала 80 917 франков, что с лихвой покрыло пассив наследства. Мари Дюплесси завещала деньги, которые останутся после уплаты долгов, своей нормандской племяннице (дочери ее сестры Дельфины и ткача Паке), поставив условием, чтобы наследни-

ца никогда не приезжала в Париж.

Жизнь и смерть Мари Дюплесси сыграли решающую роль в моральной эволюции Дюма-сына. Его отец, как и все романтики, воспевал права страсти, но сам очень скоро перестал следовать этим идеалам. Любовницам типа Мелани Вальдор он предпочитал снисходительных и непостоянных девиц. Его сын с двадцати лет тоже пристрастился к необременительным увлечениям, но пример матери показал ему, к каким печальным последствиям приводят подобные связи; судьба Мари окончательно убедила его, что комедия удовольствий в жизни, увы, слишком часто оборачивается трагедией.

В мае 1847 года он отправился на прогулку в Сен-Жермен и вспомнил тот день, когда он скакал по лесу с Эженом Дежазе. Оттуда друзья отправились в «Варьете», что положило начало его роману с Мари.

Александр снял комнату в отеле. «Белая лошадь», перечитал письма Мари и написал о ней роман под названием «Дама с камелиями». <...>

Жюль Жанен **Мари Дюплесси**

В 1845 году, в эпоху благоденствия и мира, когда молодая Франция была осыпана всеми дарами ума, таланта, красоты и богатства, в Париже проживала молодая, замечательно красивая и привлекательная особа. Где бы она ни появлялась, все, кто видел ее в первый раз и не знал ни имени, ни профессии, обращали на нее почтительное внимание. И действительно, у нее было самое безыскусственное, наивное выражение лица, обманчивые манеры, смелая и вместе с тем скромная походка женщины из самого высшего общества; лицо у нее было серьезное, улыбка значительная, и при виде ее можно было повторить слова Эллевью об одной придворной даме: не то это кокетка, не то герцогиня.

Увы, она не была герцогиней и родилась на самом низу общественной лестницы. Нужно было иметь ее красоту и привлекательность, чтобы в восемнадцать лет так легко перешагнуть через первые ступени. Помню, я встретил ее в первый раз в отвратительном фойе одного бульварного театра, плохо освещенного и переполненного шумной публикой, которая обыкновенно относится к мелодраме как к серьезной пьесе. В толпе было больше блузок, чем платьев, больше чепцов, чем шляп с перьями, и больше потрепанных пальто, чем свежих костюмов. Болтали обо всем: о драматическом искусстве и о жареном картофеле, о репертуаре театра Жимназ и о сухарях в театре Жимназ, но когда в этой странной обстановке появилась та женщина, казалось, что взглядом своих прекрасных глаз она осветила все эти смешные и ужасные вещи. Она так легко прикасалась ногами к неровному паркету, как будто в дождливый день переходила бульвар. Она инстинктивно приподнимала платье, чтобы не коснуться засохшей грязи, вовсе не думая показывать нам свою стройную, красиво обутую ножку в шелковом ажурном чулке. Весь ее туалет гармонировал с гибкой и юной фигуркой, прелестный овал слегка бледного лица придавал ему обаяние, которое она распространяла вокруг себя, словно какой-то необыкновенно тонкий аромат.

Она вошла, проследовала с высоко поднятой головой через удивленную толпу – представьте себе наше удивление, Листа и мое, – фамильярно села на нашу скамейку, хотя ни Лист, ни я не были с ней знакомы. Она была умная женщина, со вкусом и здравым смыслом, и первая заговорила с великим артистом: она сказала ему, что слышала его недавно и что он очаровал ее. Он, подобный звучным инструментам, которые отвечают на первое дуновение майского ветерка, слушал со сдержанным вниманием ее слова, полные содержания, звучные, красноречивые и мечтательные по форме. Со свойственным ему поразительным тактом и привычкой вращаться как в среде официального мира, так и в среде артистического, он задавал себе вопрос: кто эта женщина, такая фамильярная и вместе с тем такая благородная, которая первая с ним заговорила, но после первых же слов обращалась с ним несколько высокомерно, как будто он был ей представлен в Лондоне, при дворе королевы или герцогини Сутерландской?

Однако в зале уже прозвучали три торжественных удара режиссера, и в фойе не осталось ни-

кого из публики и критиков. Только незнакомая дама оставалась со своей спутницей и с нами, — она даже подседа поближе к огню и поставила свои замерзшие ножки так близко к поленьям, что мы свободно могли рассмотреть ее всю, начиная с вышивки ее юбки и кончая локонами прически. Ее рука в перчатке была похожа на картинку, ее носовой платок был искусно обшит королевскими кружевами, в ушах у нее были две жемчужины, которым могла бы позавидовать любая королева. Она так носила все эти вещи, как будто родилась в шелку и бархате, под золоченой кровлей, где-нибудь в великолепном предместье, с короной на голове, с толпой льстецов у ног. Ее манеры гармонировали с разговором, мысль — с улыбкой, туалет — с внешностью, и трудно было бы отыскать на самых верхах общества личность, так гармонировавшую со своими украшениями, костюмами и речами.

Лист был очень удивлен таким чудесным явлением в подобном месте, таким приятным антрактом в этой дешевой мелодраме и разошелся. Он был не только величайший артист, но и очень красноречивый собеседник. Он умел разговаривать с женщинами и, как они, переходил от одной идеи к другой, прямо противоположной. Он обожал парадоксы и касался то серьезных материй, то смешных. Я не сумею вам описать, с каким искусством, с каким тактом, с каким безграничным вкусом он вел с этой незнакомкой обычный, немного вульгарный и в то же время чрезвычайно изящный разговор.

Они разговаривали так в продолжение всего третьего акта мелодрамы, а ко мне обращались только два раза из вежливости. Я находился как раз в это время в том скверном настроении, когда человеческая душа не поддается никакому восторгу, и был уверен, что незнакомая дама считает меня очень скучным и глупым, в чем она была совершенно права.

Зима прошла, прошло лето, а осенью на блестящем бенефисном спектакле в Опере мы вдруг увидели, как шумно открылась большая ложа в бельэтаже и там появилась с букетом в руках та самая красавица, которую я видел в бульварном театре. Это была она! Но на этот раз — в роскошном туалете модной женщины, сверкая блеском победы. Ее прекрасные волосы были переплетены бриллиантами и цветами и так грациозно зачесаны, что казались словно живыми; у нее были голые руки и грудь, и на них сверкали ожерелья, браслеты, подвески. В руках у нее был букет не сумею сказать какого цвета: нужно иметь глаза молодого человека и воображение ребенка, чтобы различить окраску букета, над которым склоняется красивое лицо. В нашем же возрасте замечают только щечки и глаза и мало интересуются всем остальным.

В этот вечер Дюпре начал борьбу со своим непокорным голосом, окончательный бунт которого он уже предчувствовал, но он один это предчувствовал, широкая публика этого и не подозревала. Только немногие любители угадывали усталость, скрытую под искусными приемами, и истощение артиста от колоссальных усилий лгать перед самим собой. По-видимому, прекрасная дама, о которой я говорю, была такой ценительницей: послушав несколько минут очень внимательно и не поддавшись общей очарованности, она энергично отодвинулась в глубину ложи, перестала слушать и начала с лорнетом в руках изучать публику.

Вероятно, она многих знала среди посетителей этого спектакля. Судя по движению ее лорнета, легко было заключить, что молодая женщина могла рассказать многое о молодых людях с самыми громкими именами. Она смотрела то на одного, то на другого, без разбора, не выделяя никого своим вниманием, равнодушная ко всем, и каждый отвечал ей на оказанное внимание улыбкой, или быстрым поклоном, или мимолетным взглядом. Из глубины темных лож и мест оркестра к прекрасной женщине направлялись другие взоры, пламенные, как вулкан, но и их она не замечала. Но когда ее лорнет случайно останавливался на дамах из настоящего общества, она внезапно принимала такой покорный и жалкий вид, что было больно на нее смотреть. И наоборот, она с горечью отворачивалась, если по несчастной случайности взор ее падал на красавиц, пользующихся сомнительной известностью и занимающих самые лучшие места в театре в большие дни. Ее спутник (на этот раз у нее был кавалер) был очень красивый молодой человек, наполовину парижанин, сохранивший еще некоторые остатки отцовского состояния, которые он приканчивал день за днем в этом погибельном городе. Этот начинавший жить молодой человек гордился своей спутницей, достигшей апогея красоты, с удовольствием афишировал свое право собственности на нее и надоедал ей всевозможными знаками внимания, которые так приятны молодой женщине,

когда они исходят от милого сердцу любовника, и так невыносимы, когда не встречаются взаимности. Она его слушала, не слыша, и смотрела на него, не видя... Что он говорил? Она не знала, но старалась отвечать, и эти бессмысленные слова утомляли ее.

Таким образом, сами того не подозревая, они были не одни в ложе, стоимость которой равнялась полугодичному пропитанию целой семьи. Между ней и ним возник обычный спутник больных душ, уязвленных сердец, изможденных умов – скука, этот Мефистофель заблудших Маргарит, павших Кларисс, всех этих богинь, детей случая, которые бросаются в жизнь без руля и без ветрил.

Она, эта грешница, окруженная обожанием и поклонением молодости, скучала, и эта скука служила ей оправданием, как искупление за скоро преходящее благоденствие. Скука была несчастьем ее жизни. При виде разбитых привязанностей, сознавая необходимость заключать мимолетные связи и переходить от одной любви к другой, – увя! – сама не зная почему, заглушая зарождающееся чувство и расцветающую нежность, она стала равнодушной ко всему, забывала вчерашнюю любовь и думала о сегодняшней любви столько же, сколько и о завтрашней страсти.

Несчастливая, она нуждалась в уединении... и всегда была окружена людьми. Она нуждалась в тишине... и воспринимала своим усталым слухом беспрерывно и бесконечно всё одни и те же слова. Она хотела спокойствия... ее увлекали на празднества и в толпу. Ей хотелось быть любимой... ей говорили, что она хороша! Так она отдавалась без сопротивления этому беспощадному водовороту! Такова молодость!... Как понятны становятся слова мадемуазель де Ланкло, которые она произнесла с глубоким вздохом сожаления, достигнув сказочного благополучия, будучи подругой принца Конде и мадам Ментенон: «Если бы кто-нибудь предложил мне такую жизнь, я бы умерла от страха и горя».

Опера кончилась, прелестная женщина встала, хотя вечер был еще в полном разгаре. Ждали Буффе, мадемуазель Дежазе и актеров из Пале-Рояля, не говоря уже о балете, в котором должна была выступать Карлотта, прелестное и грациозное создание, переживающее первые дни восторга и поэзии... Она не хотела дожидаться водевиля, ей хотелось сейчас же уехать домой, хотя остальную публику ожидали еще несколько часов удовольствия, под звуки музыки и при свете ярких люстр.

Я видел, как она вышла из ложи и сама накинула на себя шубу на горностаевом меху. Молодой человек, который ее сопровождал в театр, казалось, был недоволен, и так как теперь ему не перед кем было хвастаться этой женщиной, то он и не беспокоился больше о ней. Помню, что я помог ей укутать белые плечи, и она посмотрела на меня, не узнавая, с горькой улыбкой, которую перевела потом на молодого человека, расплачивавшегося в это время с билетершей и требуя у нее пять франков сдачи. «Сдачу оставьте себе», – сказала она ей, приветливо кивнув головой. Я видел, как она спустилась по большой лестнице с правой стороны, ее белое платье резко выделялось под красным пальто, а шарф, покрывавший голову, был завязан под подбородком, ревнивое кружево падало ей на глаза, но кого это трогало! Эта женщина уже сыграла свою роль, ее рабочий день был окончен, и ей не к чему было думать больше о своей красоте. Наверное, в эту ночь молодой человек не переступил порог ее комнаты...

Должен отметить одну очень похвальную вещь: эта молодая женщина пригоршнями разбрасывала золото и серебро, увлекаемая как своими капризами, так и своей добротой и мало ценя эти печальные деньги, которые ей доставались так тяжело, но вместе с тем она не была виновницей ни разорений, ни карточной игры, ни долгов, не была героиней скандальных историй и дуэлей, которые, наверное, встретились бы на пути других женщин в ее положении. Наоборот, вокруг нее говорили только о ее красоте, о ее победах, о ее хорошем вкусе, о модах, которые она выдумывала и устанавливала. Говоря о ней, никогда не рассказывали об исчезнувших состояниях, тюремных заключениях за долги и изменах – неизбежных спутниках потемок любви. По-видимому, вокруг этой женщины, так рано умершей, создалось какое-то стремление к сдержанности, к приличию. Она жила особой жизнью даже в том обособленном обществе, к которому она принадлежала, в более чистой и спокойной атмосфере, хотя, конечно, атмосфера, в которой она жила, все губила.

В третий раз я ее встретил на освящении Северной железной дороги, на празднествах, кото-

рые Брюссель устраивал Франции, ставшей его соседкой и сотрапезницей. Бельгия собрала на вокзале, этом центральном пункте всех северных железных дорог, все свои богатства: растения из своих оранжерей, цветы из своих садов, драгоценные камни своих корон. Невероятная смесь всевозможных мундиров и лент, бриллиантов и газовых платьев заполняла место небывалого праздника. Французские пэры и немецкое дворянство, испанская Бельгия, Фландрия и Голландия, разукрашенные старинными драгоценностями, современными Людовику XIV, представители больших, солидных промышленных фирм, масса изящных парижанок, похожих на бабочек в пчелином улье, слетелись на этот праздник промышленности и путей сообщения, покоренного железа и огня. Здесь беспорядочно были представлены все силы и красоты творения – от дуба до цветка, от каменного угля до аметиста. Среди толпы различных народностей, королей, принцев, артистов, кузнецов и европейских кокоток мы увидели, или, вернее, я увидел, эту прелестную женщину, еще более побледневшую, чем раньше, уже сраженную невидимым злом, которое влекло ее к могиле.

Она попала на этот бал, несмотря на свое имя, благодаря своей ослепительной красоте. Она привлекала всеобщее внимание, ей выражали восторг. Листивый шепот провожал ее на всем пути, и даже те, кто ее знал, склонялись перед ней. Как всегда спокойная и презрительно замкнутая, она принимала эти восторги как нечто должное. Она спокойно ступала по коврам, по которым ступала сама королева. Не один принц останавливался перед ней, и его взгляды легко могла понять любая женщина: я преклоняюсь перед вашей красотой и удаляюсь с сожалением. В этот вечер ее вел под руку новый незнакомец, белокурый, как немец, бесстрастный, как англичанин, изысканно одетый, очень корректный, очень замкнутый. По-видимому, он считал свой поступок проявлением большой смелости, в которой мужчины упрекают себя потом до самой смерти.

Вероятно, поведение этого человека было неприятно впечатлительной особе, которую он вел под руку. Она угадывала его своим шестым чувством и удваивала свою надменность. Ее чудесный инстинкт подсказывал ей, что чем больше этот человек удивляется своему поступку, тем сильнее должна возрастать ее дерзость и презрение к угрызениям совести этого жалкого парня. Немногие понимали страдания, которые переживала в этот момент она, женщина без имени, которую вел под руку человек без имени. Казалось, он подавал сигнал общему неодобрению и всем своим угрожающим поведением ясно выказывал свою беспокойную душу, нерешительное сердце и смущенный ум. Но этот англонемец был жестоко наказан за свою скрытую тревогу: на повороте аллеи, залитой светом, наша парижанка встретила своего друга, неприятельного друга, который получал время от времени кончики ее пальцев для поцелуя и улыбку на ее губах.

– Вы здесь, – воскликнула она, – дайте мне руку, и пойдем танцевать!

И, бросив руку своего официального кавалера, она начала танцевать вальс в два па, полный соблазна, когда его танцуют под музыку Штрауса, так, как его танцуют на берегах немецкого Рейна, его настоящей родины. Она танцевала очаровательно, не особенно быстро, не особенно наклонялась, послушная внутреннему ритму и внешнему темпу, едва касаясь легкой ножкой гладкого пола, мерно кружась, не сводя глаз со своего кавалера.

Около них образовался круг, и то одного, то другого касались прелестные волосы, развевавшиеся в такт быстрого вальса, и легкое платье, пропитанное нежными духами. Мало-помалу круг становился все теснее и теснее, другие танцоры останавливались, чтобы посмотреть на них, и само собой случилось, что высокий молодой человек, который привел ее на бал, потерял ее в толпе и тщетно искал ту, которой он с таким отвращением предложил свою руку... Нельзя было найти ни этой женщины, ни ее кавалера.

На другой день после этого праздника она приехала из Брюсселя в Спа прекрасным утром, когда горы, покрытые зеленью, сверкают на солнце. В этот час сюда стекаются все счастливые больные, которые стремятся отдохнуть от развлечений прошлой зимы, чтобы лучше подготовиться к развлечениям будущей. В Спа знают только одну лихорадку – бальную, только одну тоску – разлуки, только одно лекарство – болтовню, танцы, музыку и волнения игры вечером, когда укрепления сверкают всеми огнями, когда горное эхо повторяет на тысячи ладов чарующие звуки оркестра. В Спа парижанку приняли с редким вниманием для этой немного дикой деревни, которая охотно уступает Бадену – своему сопернику. Все были чрезвычайно удивлены в Спа, когда узнали, что эта молодая женщина серьезно больна, и опечаленные врачи признались, что они ред-

ко встречали больше покорности, соединенной с большим мужеством.

Ее очень внимательно, старательно выслушали и после серьезного совещания предписали покой, отдых, сон, тишину – одним словом, все, о чем она мечтала для себя. Услышав эти советы, она улыбнулась, недоверчиво покачав головой, – она знала, что все было возможно, кроме этих счастливых часов, удела только некоторых избранных женщин. Она обещала, однако, слушаться в течение нескольких дней и подчиниться этому спокойному режиму. Но тщетные усилия! Через некоторое время ее видели пьяной и безумно веселой деланным весельем, верхом на лошади, на самых опасных дорожках, удивляющей своим весельем ту самую аллею «Семи часов», которая так недавно ее видела мечтательно читающей в тени деревьев.

Скоро она стала львицей этих прекрасных мест. Она царила на всех празднествах, оживляла балы, предписывала программу оркестру, а ночью, когда сон принес бы ей так много пользы, пугала самых бесстрашных игроков горами золота, которые вырастали перед ней и которые она сразу теряла, равнодушная к выигрышу, как и к проигрышу. Она считала игру придатком своей профессии, средством убивать часы, которые убивали ее жизнь. Несмотря ни на что, у нее оставался еще большой козырь в жестокой жизненной игре, у нее были друзья, хотя обычно эти мрачные связи оставляют после обожания только прах и пыль, суету и ничтожество! И как часто любовник проходит мимо своей возлюбленной, не узнавая ее, и как часто любовница тщетно призывает на помощь!... Как часто рука, привыкшая к цветам, тщетно просит милостыни и черствого хлеба!...

С нашей героиней этого не было, она пала, не жалуясь, и, упав, нашла помощь, поддержку и покровительство среди страстных обожателей ее лучших дней. Эти люди, которые были соперниками и, может быть, врагами, соединились у изголовья больной, чтобы искупить безумные ночи добродетельными ночами, когда приблизится смерть, разорвется завеса, и жертва, лежащая на одре, и ее соучастники поймут наконец правдивость слов: *Vae ridentibus!* Горе смеющимся! Горе! Иначе говоря, горе пустым радостям, горе несерьезным привязанностям, горе непостоянным страстям, горе юности, заблудившейся на дурных дорогах, ибо настанет время, когда придется вернуться обратно и пасть в бездну, неизбежную в двадцать лет.

Она умерла, нежно убаюканная и утешенная бесконечно трогательными словами, бесконечными братскими заботами, у нее не было больше любовников... Никогда у нее не было столько друзей, и вместе с тем она без сожаления расставалась с жизнью. Она знала, что ее ждет, если к ней вернется здоровье, и что придется снова поднести к своим бескровным губам чашу наслаждения, гущи которой она слишком рано вкусила; она умерла молча, еще более сдержанная в смерти, чем была в жизни. После всей роскоши и скандалов хороший вкус подсказал ей желание быть погребенной на рассвете, в уединенном, неизвестном месте, без шума, без хлопот.

Однако помимо ее воли ее смерть была как бы событием! О ней говорили в течение трех дней, а это много в этом городе пылких страстей и непрерывных праздников. Через три дня открыли запертую дверь ее дома. Окна, выходившие на бульвар, как раз напротив церкви св. Магдалины, ее покровительницы, снова впустили воздух и свет в эти стены, где она умерла. Казалось, что молодая женщина снова появится в этом жилище. Не осталось никаких следов смерти ни в складках шелковых занавесей, ни в длинных драпировках необыкновенного оттенка, ни на вышитых коврах, где цветок, казалось, рождался под легкой ногой ребенка.

Все в этих роскошных покоях стояло еще на своих местах. У изголовья скамеечка сохранила отпечаток колен человека, закрывшего ей глаза. Старинные часы, показывавшие время мадам Помпадур и мадам дю Барри, показывали время и теперь, в серебряных канделябрах были вставлены свечи, оправленные для последней беседы, в жардиньерках боролись со смертью розы и выносливый вереск. Они умирали без воды... Их госпожа умерла без счастья и надежды.

Увы! На стенах висели картины Диаца, которого она признала одна из первых как истинного художника весны.

Все еще говорило о ней! Птицы распевали в золоченой клетке; в шкафах Буля за стеклами виднелись поразительные коллекции: редкие шедевры Севрской фабрики, самые лучшие саксонские рисунки эмали Петито, работы Буше, безделушки; Она любила грациозное, кокетливое,

изящное искусство, где порок не лишен ума, где невинность показывает свою наготу. Она любила флорентийскую бронзу, эмаль, терракоту, все изощрения вкуса и роскоши упадочного времени. В них она видела эмблему своей красоты и своей жизни. Увы! Она тоже была бесполезным украшением, фантазией, легкомысленной игрушкой, которая ломается при первом ударе, блестящим продуктом умирающего общества, перелетной птицей, быстротечной звездой.

Она так хорошо изучила искусство ухода за самой собой, что ничто не могло сравниться с ее платьями, с ее бельем, с мелкими принадлежностями ее туалета. Уход за красотой был, по видимому, самым любимым и самым приятным занятием ее юности.

Я слышал, как самые знатные дамы и самые искусные кокетки удивлялись изощренности и изысканности ее туалетных принадлежностей. Ее гребень был продан за сумасшедшую цену, ее головная щетка была продана чуть ли не на вес золота. Продавались даже ее поношенные перчатки, настолько была хороша ее рука. Продавались ее поношенные ботинки, и порядочные женщины спорили между собой, кому носить этот башмачок Золушки. Все было продано, даже ее старая шаль, которой было три года, даже ее пестрый попугай, напевавший довольно печальную мелодию, которой научила его госпожа; продали ее портреты, продали ее любовные записочки, продали ее лошадей, – все было продано, и ее родственники, которые отворачивались от нее, когда она проезжала в своей карете с гербами, на прекрасных английских скакунах, с торжеством завладели всем золотом, которое явилось результатом этой продажи. Целомудренные люди! Они себе ничего не оставили из вещей, принадлежавших ей.

Такова была эта исключительная женщина, даже по парижским нравам, и вы поймете мое удивление, когда появилась эта интересная книга, полная такой жизненной правды, – «Дама с камелиями». О ней заговорили сначала, как говорят обычно о страницах, запечатленных искренним чувством молодости, и все с удовольствием отмечали, что сын Александра Дюма, едва окончивший коллеж, шел уже верным шагом по блестящим следам своего отца. У него были отцовская натуральность и впечатлительность, у него был отцовский живой стиль, быстрый и не лишенный естественного диалога, легкого и разнообразного, придающего романам этого великого мастера прелесть, вкус и характер комедии.

Итак, эта книга имела большой успех. Читатели вскоре поняли, что «Дама с камелиями» не висела в воздухе, что эта женщина должна была жить и жила недавно, что эта драма не была выдумана из головы, что это была интимная трагедия, сочащаяся живой кровью. Все заинтересовались именем героини, ее положением в обществе, успехом и шумом ее любовных приключений. Публика, которая хочет все знать и в конце концов все узнает, узнала мало-помалу все эти подробности, и кто прочел книгу, тот перечитывал ее снова, и, конечно, знакомство с истинными обстоятельствами отразилось на интересе к рассказу.

Так, по счастливой случайности книга, изданная без претензий на долгую жизнь, едва ли предназначенная прожить один день, теперь переиздается с почетом всеми признанной книги! Прочтите ее, и вы узнаете во всех подробностях трогательную историю, из которой богато одаренный молодой человек создал элегию и драму – драму успеха, счастья и слез.

Дама с камелиями

I

По моему мнению, можно создавать типы людей только после долгого их изучения, так же как можно говорить на каком-нибудь языке, лишь изучив его серьезно.

Я еще не в том возрасте, когда надо что-то выдумывать, и поэтому ограничусь пересказом.

Прошу читателя поверить в истинность событий, все действующие лица которых, за исключением героини, еще живы.

Кроме того, в Париже найдутся свидетели большинства происшествий, рассказанных здесь, и сумеют их подтвердить, если моего слова окажется мало. Благодаря особому случаю я один мог их описать, ибо только я знал многие подробности, без которых рассказ был бы неинтересен и не-

полон.

Вот как эти подробности стали мне известны. 12 марта 1847 года я прочел на улице Лаффит большое объявление о предстоящей распродаже мебели и предметов роскоши. Распродажа была назначена ввиду смерти владельца. В объявлении не была названа фамилия покойного, но был указан точный адрес и время: улица д'Антэн, дом № 9, шестнадцатого числа с двенадцати до пяти. Кроме того, было сказано, что тринадцатого и четырнадцатого желающие могут предварительно осмотреть мебель и квартиру.

Я всегда был любителем редкостей и решил не пропустить этого случая, и если не купить, то, по крайней мере, посмотреть вещи.

На следующий день я отправился на улицу д'Антэн.

Несмотря на ранний час, в квартире было уже много посетителей и даже посетительниц. Дамы, одетые в бархат, закутанные в шали и приехавшие в элегантных экипажах, рассматривали, однако, с удивлением и даже с восхищением роскошь, представшую их глазам.

Позднее я понял это восхищение и удивление: присмотревшись к окружающей обстановке, я легко догадался, что нахожусь в квартире содержанки. Здесь были и светские дамы, а их больше всего на свете интересует домашняя обстановка женщин, экипажи которых каждый день забрызгивают грязью их экипажи, которые имеют так же, как и они, абонированные ложи в Большой Опере и в Итальянской и выставляют в Париже напоказ наглую роскошь своей красоты, своих драгоценностей и своих скандалов.

Та, у которой я сейчас находился, умерла, и самые добродетельные дамы могли проникнуть в ее квартиру. Смерть очистила воздух в этой блестящей клоаке, а кроме того, им служило извинением, если вообще нужно было извинение, то, что они пришли на аукцион, не зная, к кому они пришли. Они прочли объявление, хотели осмотреть вещи и заранее сделать выбор, все объяснялось очень просто, но это не мешало им разыскивать среди роскоши следы жизни куртизанки, о которой им, наверное, рассказывали много удивительного.

К несчастью, тайны умерли вместе с богиней, и дамы могли увидеть только то, что продавалось за смертью владелицы, а не то, что продавалось при ее жизни.

Однако выбор был большой. Обстановка была поразительная: мебель розового дерева и Буль⁴, севрские вазы и китайские, саксонские статуэтки, атлас, бархат и кружева, — все в изобилии.

Я расхаживал по квартире и следил за знатными посетительницами, которые пришли раньше меня. Они вошли в комнату, обтянутую ситцем. Я тоже собирался войти туда, как вдруг они вышли оттуда, улыбаясь и как бы стыдясь своего любопытства. Мой интерес к этой комнате только усилился. Это была уборная, снабженная всем необходимым. Детали эти особенно ярко говорили о расточительности покойной.

На большом столе у стены, столе в три фута ширины и шесть длины, сверкали все сокровища д'Окока и д'Одио. Это был великолепный подбор, и все эти бесчисленные предметы, необходимые при туалете такой женщины, были из серебра и золота. И собрана была эта коллекция, по видимому, не сразу, а постепенно, как дань любви различных людей.

Я не приходил в смущение при виде уборной содержанки, и мне нравилось рассматривать все мелочи. Я обратил внимание, что на всех этих прекрасных чеканных принадлежностях были различные инициалы и различные гербы.

Я рассматривал эти вещи, каждая из которых рассказывала мне о новом падении бедной девушки, и приходил к выводу, что Бог был милостив к ней, не дал дожить до обычного конца, позволил умереть среди роскоши и красоты, не дожидаясь старости, этой первой смерти куртизанок.

И действительно, как грустно видеть старость порока, особенно у женщины! В нем нет никакого достоинства, и он не вызывает никакого сочувствия. Отвратительно слышать это вечное сожаление не о дурно прожитой жизни, а о неверных расчетах и легкомысленно растраченных деньгах. Я знал одну старую проститутку, у которой от прошлого осталась только дочь, по словам ее

⁴ Стиль Буль (Bouille) появился во Франции в XVIII веке. Французская мебель достигает своего расцвета именно в этот период. Название стиля Буль происходит от имени мастера художественной мебели Андре Шарля Буля (Bouille).

современников, почти такая же красивая, как она сама. Эту бедную девушку звали Луизой. Мать постоянно напоминала ей, что она обязана заботиться о матери в старости, так же, как мать заботилась о ней в детстве, и, исполняя приказание матери, она отдавалась без всякой страсти, без удовольствия, как исполняла бы всякое другое ремесло, которому ее научили бы.

Постоянная жизнь среди разврата, разврата преждевременного, и постоянное болезненное состояние заглушили в этой девушке сознание добра и зла, которое, может быть, и было заложено в ней Богом, но развивать которое никому не приходило в голову.

Я никогда не забуду этой девушки, которая появлялась на бульварах почти каждый день, в одно и то же время. Ее мать сопровождала ее всегда, так же заботливо, как всякая другая мать сопровождает свою любимую дочь. Я был тогда очень молод и готов был примириться с легкой моралью нашего времени. Но отлично помню, что этот отвратительный надзор вызывал во мне презрение и негодование. К тому же ни у одной порядочной девушки не было такого выражения невинности и тихого страдания в лице. Это была как бы олицетворенная покорность.

Однажды лицо девушки просветлело. Среди разврата, которым руководила ее мать, грешнице показалось, что Бог явил ей милость. Но почему же Бог, который создал ее бессильной, не даст ей утешения в ее тяжелой и мрачной жизни? Однажды она почувствовала, что беременна, и все, что у нее оставалось целомудренного, затрепетало от радости. В каждой душе есть свои противоречия. Луиза поспешила сообщить матери эту радостную новость. Стыдно сказать, но ведь мы делаем это не из любви к пороку, мы рассказываем истинное происшествие и, наверное, промолчали бы о нем, если бы не думали, что нужно время от времени раскрывать мучения этих созданий, которых осуждают, не выслушав, и презирают, не подвергнув суду. Стыдно сказать, но мать ответила дочери, что им обеим только-только хватает на жизнь и что такие дети всегда лишние, а беременность – потерянное время.

На следующий день акушерка, подруга ее матери, пришла к Луизе. Луиза пролежала несколько дней в постели и встала еще более слабая и бледная, чем раньше.

Три месяца спустя какой-то господин проникся к ней жалостью и стал проявлять о ней заботу, но последнее потрясение было слишком сильным, и Луиза умерла от последствий искусственного выкидыша.

Мать еще жива; как она живет, один Бог знает.

Я вспомнил эту историю, рассматривая серебряные несесеры, и, по-видимому, сильно задумался. В комнате не осталось больше никого, кроме меня и сторожа, который, стоя у двери, внимательно наблюдал за мной.

Я подошел к сторожу, которому внушал недоверие.

– Не можете ли вы мне сказать, – спросил я, – кто жил здесь?

– Маргарита Готье.

– Как! – воскликнул я. – Маргарита Готье умерла?

– Да, сударь.

– Когда же?

– Кажется, недели три тому назад.

– А почему разрешили публике осматривать помещение?

– Кредиторы думают, что это только повысит цены. Можно заранее осмотреть мебель и обивку и выбрать по вкусу.

– У нее были долги?

– Очень много.

– Но аукцион покроет их?

– С излишком.

– А кому же достанется излишек?

– Ее семье.

– У нее есть родные?

– Кажется.

– Благодарю вас.

Сторож поклонился мне. Я ушел.

«Бедная девушка, – подумал я, возвращаясь домой, – невесело было ей умирать. В ее кругу имеют друзей только тогда, когда все идет хорошо». И невольно мне стало жаль Маргариту Готье.

Многим покажется, может быть, смешным, но я питаю чрезмерную снисходительность к проституткам и даже не намерен в этом оправдываться.

Однажды я шел в полицию за паспортом и видел, как двое жандармов вели по улице девушку. Я не знаю, что сделала эта девушка, знаю только, что она обливалась слезами, целуя грудного ребенка, от которого ее отрывали. С тех пор я не могу презирать женщину с первого взгляда.

II

Аукцион был назначен на шестнадцатое. Был оставлен свободный день между осмотром и аукционом, чтобы дать время обойщикам снять занавеси, обивку и так далее.

Я недавно вернулся из путешествия. Вполне естественно, что мне не сообщили о смерти Маргариты. Это была не та новость, которую друзья обычно сообщают возвращающемуся домой, в столицу. Маргарита была красива, но насколько шумна жизнь этих женщин, настолько тиха их смерть. Эти светила восходят и заходят без блеска. Когда они умирают молодыми, об их смерти узнают все их любовники одновременно, потому что в Париже почти все любовники известной кокотки живут одной жизнью. Они обмениваются воспоминаниями и продолжают свою жизнь дальше, не пролив ни единой слезы.

В наше время двадцатипятилетние молодые люди редко проливают слезы и не могут оплакивать первую встречную. Оплакивают только родителей, которые платят за слезы, и в зависимости от суммы, которую они уплатили.

Что касается меня, то, хотя моих букв и не было на туалетных принадлежностях Маргариты, инстинктивная снисходительность, естественная жалость, в которой я только что признался, заставляли меня думать о ее смерти дольше, чем она этого, может быть, заслуживала.

Я вспомнил, что часто встречал Маргариту на Елисейских полях, куда она ездила каждый день в маленькой синей карете, запряженной парой великолепных гнедых лошадей. Я отметил в ней тогда одну черту, несвойственную ей подобным, черту, которая как бы подчеркивала ее воистину исключительную красоту.

Эти несчастные создания, появляясь на улице, всегда окружены всяким сбродом.

Ни один мужчина не согласится афишировать подругу своих ночных наслаждений, но так как проститутки боятся одиночества, то они берут с собой на прогулку или менее счастливых попутчиков, не имеющих собственных выездов, или старых кокотов, все еще заботящихся о своей внешности, к которым свободно можно обратиться за справками относительно их спутницы.

Маргарита держалась иначе. Она приезжала на Елисейские поля всегда одна в своем экипаже, старалась не привлекать к себе внимания, зимой куталась в большую шаль, летом носила простые платья, и, хотя по дороге встречала много знакомых, ее улыбку видели только они, и только герцогиня могла бы так улыбаться.

Она не гуляла по кругу в начале Елисейских полей, как это делают и делали все ее товарки. Лошади быстро уносили ее в лес. Там она выходила из экипажа, гуляла в продолжение часа, вновь садилась в экипаж и возвращалась домой.

Я вспоминал все эти мелочи, очевидцем которых иногда бывал, и оплакивал смерть этой девушки, как оплакивают гибель прекрасного произведения искусства.

Вряд ли можно было встретить более приятную красоту, чем красота Маргариты.

Она была высокого роста и очень худощава, но свой физический недостаток искусно скрывала под складками платья. Ее длинная шаль, концы которой спускались до земли, лежала на широких оборках шелкового платья, а пушистая муфта, в которую она прятала руки, прижимая ее к груди, искусно была окружена воланами.

Представьте себе на чудном овале лица черные глаза и над ними такой четкий изгиб бровей, как будто нарисованный, окаймите глаза длинными ресницами, которые бросают тень на розовые

щеки, нарисуйте тонкий, прямой нос с чувственными ноздрями, набросайте правильный ротик, прелестные губки которого прикрывают молочно-белые зубы, покройте кожу бархатистым пушком – и вы получите полный портрет этой очаровательной головки.

Волосы, черные как смоль, были уложены так, что оставляли открытыми кончики ушей, в которых сверкали два бриллианта, каждый ценою в четыре-пять тысяч франков.

Мы можем только констатировать факт, совершенно его не понимая, что чувственная жизнь не лишила лицо Маргариты девственного и даже детского выражения.

У Маргариты был ее портрет, написанный Видалем, единственным человеком, чей карандаш мог ее передать. После смерти Маргариты этот портрет был несколько дней в моем распоряжении. Он был так удивительно похож, что помог мне восстановить детали, которых моя память не удержала.

Некоторые мелочи, о которых я говорю в этой главе, стали мне известны много позднее, но я пишу о них сейчас, чтобы не возвращаться к ним позднее, когда начнется история жизни этой женщины.

Маргарита бывала на всех первых представлениях и все вечера проводила в театрах и на балах. Каждый раз, когда давалась новая пьеса, ее наверняка можно было встретить в театре с тремя вещами, с которыми она никогда не расставалась и которые всегда лежали на барьере ее ложи бенеуара: с лорнетом, коробкой конфет и букетом камелий.

В течение двадцати пяти дней каждого месяца камелии были белые, а остальные пять дней они были красные: никому не известна была причина, почему цветы менялись, и я говорю об этом, не пытаясь найти объяснения, но завсегдатаи тех театров, где она часто бывала, и ее друзья замечали это тоже.

Маргарита никогда не появлялась с другими цветами. В цветочном магазине мадам Баржон, где она всегда брала цветы, ее прозвали в конце концов «дамой с камелиями», и это прозвище осталось за ней.

Я знал, конечно, как и все, кто вращается в известных кругах Парижа, что Маргарита была любовницей самых изящных молодых людей, что она открыто об этом говорила и что они сами этим хвастались. Это доказывало, что и любовники и любовница были довольны друг другом.

Однако последние три года, после путешествия в Баньер, по слухам, у нее была связь только с одним старым иностранцем герцогом, необыкновенно богатым, который старался оторвать ее от прошлого, на что она довольно охотно шла.

Вот что мне рассказывали по этому поводу.

Весной 1842 года Маргарита была так больна, что врачи послали ее на воды, и она поехала в Баньер.

Там среди больных была и дочь герцога. Они с Маргаритой были так похожи, что их можно было принять за сестер. Только молодая герцогиня была в последней стадии чахотки и через несколько дней после приезда Маргариты умерла.

Однажды утром герцог, который оставался в Баньере как на кладбище, где была похоронена часть его сердца, встретил Маргариту на повороте аллеи.

Ему показалось, что это тень его дочери. Подойдя к ней, он взял ее за руки, обнял, рыдая, и, еще не узнав, кто она, просил у нее позволения встретиться с ней. Для него она была воплощением образа его покойной дочери.

Маргарита была в Баньере лишь со своей горничной и потому не боялась скомпрометировать себя.

В Баньере, однако, нашлись люди, которые знали ее и официально предупредили герцога о социальном положении мадемуазель Готье. Это было ударом для старика, но было уже поздно. Молодая женщина стала потребностью его сердца и единственной целью жизни.

Он не упрекал ее, да и не имел на то права, но спросил, способна ли она изменить свою жизнь, предложив взамен какое угодно вознаграждение. Она обещала.

Нужно сказать, что в это время Маргарита была больна. Но ей, человеку впечатлительному, казалось, что главной причиной ее болезни было прошлое, и какое-то суеверное чувство заставля-

ло ее надеяться, что Бог оставит ей красоту и здоровье в награду за раскаяние и исправление.

И действительно, воды, прогулки, естественная усталость и сон к концу лета восстановили ее силы.

Герцог сопровождал Маргариту в Париж, где он продолжал навещать ее.

Эта связь, о которой никто толком ничего не знал, произвела большое впечатление, потому что герцог был известен своим богатством, а теперь стал известен своей расточительностью.

Сближение старого герцога с молодой женщиной объясняли распущенностью, свойственной богатым старикам. Строили различные догадки, кроме единственно правильной.

А меж тем чувства этого старого человека к Маргарите носили такой целомудренный характер, что всякое другое отношение к ней показалось бы ему кровосмешением, и ни разу он не сказал ей ничего такого, что не могла бы слышать его дочь.

Нам чужды намерения придавать нашей героине несвойственный ей облик. Мы должны отметить, что, пока она была в Баньере, обещание, данное герцогу, сдержать было нетрудно, и она его сдержала, но по возвращении в Париж этой девушке, привыкшей к рассеянной жизни, к балам, даже к оргиям, стало казаться, что одиночество, нарушаемое только периодическими визитами герцога, заставит ее умереть от скуки, и жгучее дыхание прошлой жизни ударило ей в голову и в сердце.

Прибавьте к этому, что Маргарита вернулась еще более красивой, чем раньше, что ей было двадцать лет и что болезнь, усыпленная, но не сломленная окончательно, по-прежнему рождала в ней обостренную жажду жизни, которой почти всегда сопровождаются легочные заболевания.

Герцогу было очень тяжело, когда его друзья, неустанно выжидавшие скандала со стороны молодой женщины, связь с которой, по их словам, его компрометировала, донесли ему, что, когда она уверена в своей безопасности, она принимает посетителей и что эти посещения продолжаются часто до следующего утра.

Герцог спросил Маргариту, она созналась, и без всякой задней мысли посоветовала ему перестать интересоваться ею, так как у нее нет сил сдерживать свое обещание и ей не хочется больше принимать благодеяния от человека, которого она обманывает.

Герцог не показывался в течение недели, и это было все, что он мог сделать, а на восьмой день он умолял Маргариту впустить его, обещая принять ее такой, какова она есть, лишь бы ему позволено было ее видеть, и клянясь, что до самой смерти он ей не сделает ни одного упрека.

Вот как обстояло дело через три месяца после возвращения Маргариты, другими словами, в ноябре или декабре 1842 года.

III

Шестнадцатого, в час дня, я отправился в улицу д'Антэн.

Уже у входной двери были слышны голоса.

Квартира была полна любопытных.

Там были все звезды пышного порока, с любопытством изучаемые несколькими светскими дамами, которые снова воспользовались аукционом, чтобы присмотреться к женщинам, с которыми они никогда не имели бы случая встретиться и легким радостям которых они, может быть, втайне завидовали.

Герцогиня Ф, стояла бок о бок с мадемуазель А., одним из печальнейших явлений в среде наших куртизанок; маркиза Т. колебалась, купить или не купить ей вещь, на которую надбавляла цену мадам Д., самая роскошная и самая известная кокетка; герцог И., о котором в Мадриде говорили, что он разоряется в Париже, а в Париже, что он разоряется в Мадриде, и который все-таки не мог истратить даже своего годового дохода, разговаривал с мадам М., одной из наших самых умных рассказчиц, которая время от времени печатала рассказы за своей подписью, и обменивался дружескими взглядами с мадам N., прекрасной завсегдатайкой Елисейских полей, почти всегда одетой в розовое или голубое; ее карета запряжена парой рослых черных лошадей, которых Тони продал ей за десять тысяч франков и... которые она ему заплатила; наконец, мадемуазель Р., кото-

рая при помощи только своего таланта достигла вдвойне против того, чего достигают светские женщины при помощи своего приданого, и втройне против того, что другие достигают при помощи любви, пришла, несмотря на холод, сделать несколько покупок, и на нее было устремлено немало взоров.

Мы могли бы назвать инициалы еще многих людей, собравшихся в этих гостиных и очень удивленных общей встречей, но боимся утомить читателя.

Скажем только, что всем было безумно весело и среди тех, кто находился здесь, многие знали покойную, но, по-видимому, не вспоминали ее.

Смеялись громко, оценщики кричали до потери голоса, торговцы, которые заполнили все скамьи перед главным столом, тщетно старались восстановить тишину, чтобы в тишине обделать свои дела. Никогда не было такого шумного и пестрого собрания.

Я медленно шел среди этого неуместного шума, помня, что рядом, в соседней комнате, умерла несчастная женщина, мебель которой продавали за долги.

Целью моего прихода были не столько покупки, сколько наблюдение, и поэтому я наблюдал физиономии поставщиков, которые устроили аукцион. Каждый раз, когда какой-нибудь предмет неожиданно повышался в цене, их лица расплывались в улыбке.

«Честные» люди, которые строили свои расчеты на продаже этой женщины самой себя, которые зарабатывали на ней сто на сто, которые преследовали ее своими векселями в последние минуты жизни, пришли после ее смерти пожать плоды своих «честных» расчетов и получить проценты за свой постыдный кредит.

Насколько правы были древние, установив одного общего Бога для торговцев и для воров!

Платья, шали, драгоценности продавались с неслыханной быстротой. Эти вещи мне были ни к чему, и я ждал.

Вдруг я услышал крик:

– Книга в прекрасном переплете, с золотым обрезом, под заглавием «Манон Леско». На первой странице есть надпись. Десять франков.

– Двенадцать, – сказал кто-то после продолжительного молчания.

– Пятнадцать, – сказал я. Почему? Не знаю. Вероятно, из-за надписи.

– Пятнадцать, – повторил оценщик.

– Тридцать, – возразил первый покупатель таким тоном, будто он не допустит надбавки.

Дело принимало характер борьбы.

– Тридцать пять! – крикнул я.

– Сорок.

– Пятьдесят.

– Шестьдесят.

– Сто.

Признаюсь, если бы я хотел произвести сильное впечатление, я вполне достиг этого; кругом воцарилось глубокое молчание, и все смотрели на меня, желая разглядеть, кто так добивается этой книги.

По-видимому, тон, которым я произнес последнее слово, подействовал на моего противника: он предпочел прекратить этот торг, в результате я должен был заплатить за книжку в десять раз дороже ее стоимости и, поклонившись, сказал очень любезно, но, к сожалению, немного поздно:

– Я уступаю.

Возражений не последовало, и книга осталась за мной.

Опасаясь, что самолюбие снова заведет меня далеко и нанесет ущерб моему кошельку, я записал свое имя и ушел. Должно быть, свидетелям этой сцены я подал повод к бесконечным догадкам: их интересовало, вероятно, почему я заплатил сто франков за книгу, которую мог повсюду купить за десять, самое большое – за пятнадцать.

Через час я послал за своей покупкой. На первой странице было написано чернилами красивым почерком несколько слов от того, кто подарил эту книгу. Надпись была коротенькая:

А внизу подпись: «Арман Дюваль».

Что значило это слово «смиренная»?

В чем признавала Манон, по мнению Армана Дюваля, превосходство Маргариты: в разврате или в благородстве души?

Второе толкование казалось более правдоподобным, первое было бы только наглой откровенностью, которую не приняла бы Маргарита, несмотря на свое мнение о себе.

Я взял в руки эту книгу только вечером, перед сном.

Я очень хорошо знаю трогательную историю Манон Леско, но всякий раз, когда мне попадает в руки эта книга, меня влечет к ней, я открываю ее и в сотый раз переживаю жизнь героини аббата Прево. Эта героиня так правдоподобна, что мне кажется, будто я ее знаю. На этот раз постоянная параллель между Маргаритой и Манон придавала чтению неожиданную привлекательность, и к моей снисходительности присоединялась жалость, почти любовь к бедной девушке, по наследству от которой я получил этот томик. Манон умерла в пустыне, это верно, но на руках человека, который любил ее всеми силами души, который вырыл для мертвой могилу, оросил ее своими слезами и схоронил в ней свое сердце, а Маргарита, такая же грешница, как Манон, может быть так же раскаявшаяся, как и та, умерла среди пышной роскоши, если верить тому, что я видел, на ложе своего прошлого, но и среди пустыни сердца, более бесплодной, более необъятной, более безжалостной, чем та, в которой была погребена Манон.

И действительно, как я узнал от своих друзей, осведомленных о последних днях ее жизни, Маргарита не слышала у своего изголовья искреннего утешения в продолжение двух месяцев, пока тянулась ее медленная и мучительная агония.

Потом от Манон и Маргариты моя мысль перенеслась к тем, которых я знал и которые с песнями шли по дороге к смерти, почти всегда одинаково печальной.

Бедные создания! Если нельзя их любить, то можно пожалеть. Вы жалеете слепого, который никогда не видел дневного света, глухого, который никогда не слышал голосов природы, немого, который никогда не мог передать голос своей души, и из чувства стыда не хотите пожалеть слепоту сердца, глухоту души и немоту совести, которые делают несчастную страдальцу безумной и помимо ее воли неспособной видеть хорошее, слышать Господа Бога и говорить на чистом языке любви и веры.

Гюго написал Марион Делорм, Мюссе – Бернеретту, Александр Дюма – Фернанду, мыслители и поэты всех времен приносили куртизанкам дары своего сострадания, а иногда какой-нибудь великий человек реабилитировал их своей любовью и даже своим именем... Я так настаиваю на этом потому, что среди тех, кто будет меня читать, многие, может быть, уже готовы бросить мою книгу, так как боятся найти в ней апологию порока и проституции, а возраст автора только усиливает это опасение. Пусть те, кто так думает, сознают свою ошибку, и пусть они продолжают чтение, если их удерживал только этот страх.

Я убежден в одном: для женщины, которую не научили добру, Бог открывает два пути, которые приводят ее к нему: это – путь страдания и путь любви. Они трудны, те, кто на него вступает, натирают себе до крови ноги, раздирают руки, но в то же время оставляют на придорожных колючках клочья одежды и подходят к цели в той наготе, которой не стыдятся перед создателем.

Те, кто встречает этих путниц, должны их поддержать и сказать всем, что они их встретили, ибо, сказав об этом, они другим указывают путь.

Речь идет не просто о том, чтобы поставить при входе в жизнь два столба с надписью на одном: «Путь к добру» и с предупреждением на другом: «Путь ко злу» и сказать тем, кто является: «Выбирайте!»

Нужно указывать тем, кто уклонился в сторону дорог, которые ведут со второго пути на первый, и нужно постараться, чтобы начало этого пути не было очень тяжелым и не казалось непреодолимым.

Зачем нам быть такими строгими? Зачем нам упорно держаться взглядов того общества, которое представляется жестоким, чтобы его считали сильным, и отталкивать души, истекающие кровью от ран, через которые, как дурная кровь, испаряется зло их прошлого, и ожидающие дружеской руки, которая их перевяжет и даст их сердцу исцеление?

Я обращаюсь к моему поколению, к тем, которые, подобно мне, понимают, что человечество за последние пятнадцать лет сделало один из наиболее смелых скачков. Вера вновь возрождается, к нам возвращается уважение к справедливости, и если мир не стал совершенным, то он стал по крайней мере лучше. Усилия всех умных людей клонятся к одной цели, и все сильные воли заражены одним желанием: будем добры, будем молоды, будем правдивы! Зло есть суэта, будем гордиться добром, а главное, не будем приходить в отчаяние. Не будем презирать женщину, которая не называется ни матерью, ни сестрой, ни дочерью, ни женой. Не будем ограничивать уважение семьей, снисхождение – эгоизмом. Небо больше радуется одному раскаявшемуся грешнику, чем ста праведникам, которые никогда не согрешили. Постараемся же порадовать небо. Оно воздаст нам сторицей. Будем раздавать на своем пути милостыню нашего прощения тем, кого погубили земные страсти, и, как говорят добрые старые женщины, когда они предлагают лекарство собственного изобретения, если это и не поможет, то во всяком случае не повредит.

Конечно, может показаться очень смелым с моей стороны ожидать таких великих результатов от моего труда, но я принадлежу к тем, кто верит, что все большое может быть заключено в малом. Ребенок заключает в себе будущего взрослого: мозг тесен, но в нем сокрыта мысль; глаз – точка, но он обнимает пространства.

Через два дня аукцион был закончен. Он дал сто пятьдесят тысяч франков.

Кредиторы разделили между собой две трети, а семья, состоявшая из сестры и племянника, унаследовала остальное.

Сестра сделала большие глаза, когда нотариус известил ее, что ей досталось наследство в пятьдесят тысяч франков.

Шесть-семь лет эта девушка не видела сестру, которая однажды исчезла и с тех пор не давала о себе знать.

Она поспешно приехала в Париж, и велико было удивление тех, кто знал Маргариту, когда они увидели в лице ее единственной наследницы толстую и красивую деревенскую девушку, ни разу до тех пор не выезжавшую из деревни.

Ее будущее было обеспечено одним взмахом пера, и она даже не знала, из какого источника пришло к ней это неожиданное благополучие.

Она снова вернулась, как мне рассказывали, к себе в деревню, очень опечаленная смертью сестры. Утешение, однако, могли дать ей деньги и проценты от них.

Все эти подробности живо интересовали Париж – очаг скандалов, но мало-помалу стали забываться, и я тоже начал было забывать свое участие в этих событиях, как вдруг новое происшествие раскрыло передо мной всю жизнь Маргариты и показало мне такие трогательные подробности, что у меня явилось желание написать этот рассказ, и я его написал.

Уже три или четыре дня, как квартира была освобождена от проданной мебели и сдавалась внаем, когда однажды утром ко мне пришел посетитель.

Мой слуга, или, вернее, швейцар, который мне прислуживал, вышел на звонок, принес карточку и сказал, что какой-то господин желает меня видеть.

Взглянув на карточку, я прочел там два слова: Арман Дюваль. Я старался вспомнить, где уже видел это имя, и вспомнил первую страницу книги «Манон Леско».

Что нужно от меня человеку, который подарил эту книгу Маргарите? Я велел немедленно просить посетителя.

Вошел белокурый молодой человек, высокого роста, бледный. Он был одет в дорожный костюм, который, по-видимому, не снимал несколько дней и не почистил даже по приезде в Париж.

Господин Дюваль был очень взволнован и не старался скрыть свое волнение. Он обратился ко мне со слезами на глазах и с дрожью в голосе:

– Пожалуйста, простите мой визит и мой костюм, но ведь молодые люди могут не стесняться друг друга, а мне так хотелось повидать вас сегодня, что я даже не заезжал в гостиницу, куда отправил свои сундуки, и прибежал, боясь в другое время не застать вас дома.

Я попросил господина Дюваля сесть около огня. Он вынул из кармана носовой платок и закрыл им на мгновение лицо.

– Вам трудно понять, – начал он с печальным вздохом, – что хочет незнакомый посетитель в такой час, в таком виде и вдобавок плачущий. Я пришел вас просить об очень большом одолжении.

– Говорите, я к вашим услугам.

– Вы присутствовали на аукционе у Маргариты Готье?

При этих словах волнение молодого человека, которое он сумел немного подавить, снова прорвалось и он принужден был закрыть лицо руками.

– Вам смешно смотреть на меня, – добавил он, – еще раз прошу у вас прощения. Будьте уверены, что я никогда не забуду терпения, с которым вы меня слушаете.

– Если та услуга, которую вы потребуете от меня, – возразил я, – может хоть немного успокоить ваше горе, скажите мне скорее, чем я могу быть вам полезен, и я буду счастлив помочь вам.

Горе господина Дюваля было мне симпатично, и я хотел быть ему приятным.

Тогда он сказал:

– Вы купили какую-то вещь на аукционе у Маргариты?

– Да, книгу.

– «Манон Леско»?

– Да.

– Эта книга у вас?

– Она у меня в спальне.

Арман Дюваль при этом сообщении, казалось, успокоился и поблагодарил меня, как будто я оказал ему услугу тем, что сохранил эту книгу.

Я поднялся, прошел в свою комнату, взял книгу и передал ему.

– Да, это та самая, – сказал он, посмотрев на надпись на первой странице и перелистав книгу, – да, это она.

И две большие слезы скатились по его щекам.

– Скажите, пожалуйста, – спросил он, подняв на меня глаза и даже не стараясь скрыть слез, – вы очень дорожите этой книгой?

– Почему вы так думаете?

– Потому, что я хочу вас просить уступить ее мне.

– Простите мне, пожалуйста, мое любопытство, – сказал я, – это вы подарили книгу Маргарите Готье?

– Да, я.

– Книга принадлежит вам, возьмите ее, я счастлив, что могу вернуть ее вам.

– Но, – возразил господин Дюваль со смущением, – я верну вам по крайней мере то, что вы за нее заплатили.

– Позвольте мне подарить вам ее. Цена книжки на подобном аукционе пустячная, и я уж не помню, сколько заплатил за нее.

– Вы заплатили за нее сто франков.

– Да, верно, – сказал я в свою очередь со смущением. – Но откуда вы это знаете?

– Это очень просто: я надеялся приехать в Париж вовремя, чтобы поспеть к аукциону у Маргариты, а приехал только сегодня утром. Я хотел обязательно иметь какую-нибудь вещь после нее и побежал к оценщику, чтобы получить разрешение посмотреть список проданных вещей и имена покупателей. Я увидел, что эту книжку купили вы, и решил просить вас уступить ее мне, хотя сумма, которую вы заплатили за нее, заставила меня опасаться, что у вас самого связано какое-нибудь воспоминание с этой книгой.

В словах Армана чувствовалось опасение, что я знал Маргариту так же, как и он.

Я поспешил его разуверить:

– Я знал мадемуазель Готье только по виду. Ее смерть произвела на меня такое впечатление, какое производит на всякого молодого человека смерть красивой женщины, которую он имел удовольствие встречать. Я хотел купить что-нибудь у нее на аукционе и почему-то погнался за этой книжкой, сам не знаю почему, может быть, из желания позлить одного господина, который хотел ее приобрести во что бы то ни стало и боролся со мной за ее обладание. Повторяю вам, книга эта к вашим услугам, и я очень прошу вас взять ее у меня, но не на тех условиях, на каких я ее получил от оценщика. Пускай она будет залогом нашего дальнейшего знакомства и дружеских отношений.

– Хорошо, – сказал Арман, протянув мне руку и пожав мою, – согласен и буду вам признателен всю жизнь.

Мне очень хотелось расспросить Армана о Маргарите, потому что надпись на книге, путешествие молодого человека, его желание обладать книгой подстрекали мое любопытство, но я боялся своими расспросами навести его на мысль, что я отказался от денег, чтобы иметь право вмешиваться в его личную жизнь.

Казалось, он угадал мое желание и сказал:

– Вы читали эту книгу?

– Да.

– Что вы подумали о моей надписи?

– Я решил, что бедная девушка, которой вы подарили книгу, по вашему мнению, выделялась на общем уровне. Мне не хотелось видеть в этих строках пошлого комплимента.

– Вы были правы. Эта девушка была ангел. Вот прочтите это письмо. – И он протянул мне листок бумаги, который, по-видимому, не раз перечитывал.

Я развернул его и вот что прочел:

«Милый Арман, я получила ваше письмо и благодарю создателя за вашу доброту. Да, мой друг, я больна, и больна такой болезнью, которая не прощает, но ваше участие очень облегчает мои страдания. Я не проживу так долго, чтобы испытать счастье от пожатия руки, которая написала полученное мною хорошее письмо, слова которого должны были бы меня исцелить, если бы что-нибудь могло меня еще исцелить. Я вас не увижу, так как смерть близка, а сотни верст отделяют вас от меня. Бедный друг! Ваша прежняя Маргарита очень изменилась, и, пожалуй, лучше не видеть ее больше совсем, чем увидеть такой, какой она стала. Вы спрашиваете меня, прощаю ли я вас. Ах, от всего сердца, друг мой, так как зло, которое вы мне причинили, было только доказательством вашей любви ко мне. Вот уже месяц, как я лежу в постели, и так ценю ваше уважение, что веду дневник с момента, как мы расстались, и буду вести его до тех пор, пока силы мне не изменят.

Если я вам действительно дорога, Арман, сходите по возвращении к Жюли Дюпре. Она вам передаст этот дневник. Вы там найдете объяснение и оправдание всему, что произошло между нами. Жюли очень хорошо ко мне относится, мы часто говорили о вас. Она была у меня, когда пришло ваше письмо, и мы плакали, читая его.

Еще раньше, когда я не имела от вас никаких известий, я просила ее передать вам эти бумаги, когда вы вернетесь во Францию. Не благодарите меня. Эти постоянные воспоминания о единственных радостных моментах моей жизни доставляют мне большую радость, и если вы должны найти в этих листках прощение прошлому, то я в них нахожу постоянное успокоение.

Мне хотелось бы оставить вам что-нибудь на память, но все мои вещи опечатаны, и у меня ничего нет.

Вы представляете себе, мой друг? Я умираю и из спальни слышу в соседней комнате шаги сторожа, которого мои кредиторы поставили тут, чтобы друзья ничего не унесли и чтобы у меня ничего не осталось, если я не умру. Нужно надеяться, что

они дождутся конца и тогда уж назначат аукцион.

Ах как безжалостны люди! Или нет, я ошибаюсь, это Бог справедлив и непреклонен.

Итак, мой друг, вы явитесь на аукцион и купите что-нибудь. Если же я спрячу для вас какую-нибудь безделушку и они узнают об этом, они способны привлечь вас к ответственности за присвоение чужой собственности.

Я покидаю печальную жизнь.

Велика была бы милость божья, если бы мне позволено было увидеть вас перед смертью! Но по всему видно, что я должна вам сказать: прости, мой друг! Простите, что я кончаю письмо, но мои исцелители истощают меня кровопусканиями, и рука моя отказывается служить.

Маргарита Готье».

И действительно, последние строчки с трудом можно было прочесть.

Я вернул письмо Арману, который, наверное, повторял его на память, в то время как я читал по бумаге. Взяв его у меня, он сказал:

– Кто бы мог подумать, что это писала содержанка!

И, растроганный своими воспоминаниями, он рассматривал некоторое время почерк, а потом поднес письмо к губам.

– Как вспомню, – снова начал он, – что она умерла, не повидавшись со мной, и что я ее не увижу больше никогда, как вспомню, что она сделала для меня то, чего не сделала бы сестра, я не могу себе простить, что дал ей умереть так, как она умерла. Умерла! Умерла, думая обо мне, произнося мое имя, бедная милая Маргарита! – И Арман, дав волю своим воспоминаниям и слезам, протянул мне руку и продолжал: – Наверное, всякий посмеялся бы надо мной, увидев мои горькие слезы о такой покойной, ведь никто не знает, как я заставил страдать эту женщину, как я был жесток, как она была добра и покорна. Я думал, что имею право ее прощать, а теперь считаю себя недостойным ее прощения. Ах, я отдал бы десять лет жизни, чтобы поплакать один час у ее ног.

Очень тяжело утешать в горе, которого не знаешь, а меж тем я испытывал такое горячее участие к этому молодому человеку, он с такой откровенностью сделал меня поверенным своего горя, что я решил, что мои слова не будут ему безразличны, и сказал:

– Разве у вас нет родных, друзей? Попытайтесь повидаться с ними, и они утешат вас, а я могу вам только сочувствовать.

– Да, это верно, – сказал он, поднявшись и сделав несколько шагов по комнате, – я вам надоел. Простите, я не подумал, что мое горе вас очень мало трогает и что я пристаю к вам с тем, что вас не может и не должно ничуть интересовать.

– Вы неверно меня поняли, я весь к вашим услугам. Мне только жаль, что я не в состоянии успокоить вас. Если мое общество и общество моих друзей могут вас развлечь, если я хоть чем-нибудь могу быть вам полезен, пожалуйста, не сомневайтесь в полной моей готовности.

– Простите меня, – сказал он, – горе преувеличивает все ощущения. Позвольте мне остаться у вас еще несколько минут и вытереть глаза: я не хочу, чтобы уличные зеваки рассматривали с любопытством большого парня, который плачет. Вы меня осчастливили этой книгой, я никогда не сумею вас отблагодарить.

– Считайте меня своим другом, – сказал я Арману, – и откройте мне причины вашего горя. Большое утешение – рассказать о своих страданиях.

– Вы правы, но сегодня мне слишком хочется плакать и я не сумею вам связно рассказать. Как-нибудь на днях я расскажу вам все подробно, и вы сами увидите, должен ли я оплакивать бедную девушку. А теперь, – добавил он, в последний раз вытерев глаза и посмотрев на себя в зеркало, – скажите, вы не очень на меня сердитесь и позволите мне снова навестить вас?

У него было очень милое и приятное выражение лица, и я с трудом удержался, чтобы не обнять его.

Что касается Армана, то глаза его опять подернулись слезами. Он увидел, что я это заметил,

и отвернулся.

– Мужайтесь, – сказал я.

– Прощайте. – И, сделав над собой неимоверное усилие, чтобы не заплакать, он выбежал от меня.

Я отодвинул занавес и увидел, как он садился в экипаж, который ждал его у дверей. Усевшись, он сейчас же залился слезами и закрыл лицо платком.

V

Прошло много времени, и я ничего не слышал об Армане, но зато мне часто приходилось слышать о Маргарите.

Я не знаю, замечали ли вы, что иногда достаточно, чтобы кто-нибудь только раз произнес при вас имя особы, которая совершенно не должна была бы вас интересовать, как вдруг вокруг этого имени начинают собираться различные детали и все ваши друзья начинают говорить вам о том, о чем они никогда раньше с вами не разговаривали. Вы вдруг открываете, что эта особа даже интересовала вас, вы замечаете, что она много раз появлялась в вашей жизни, но только вы на это не обращали внимания. Вы находите в том, что вам рассказывают, сходство с некоторыми явлениями вашей собственной жизни. По отношению к Маргарите дело не обстояло буквально так: я ее и раньше видел, встречал и знал по виду, однако со времени аукциона мне так часто приходилось слышать это имя, а в описанном происшествии оно было связано с таким глубоким страданием, что мое удивление только возросло, а любопытство усилилось.

В результате я обращался ко всем моим друзьям, с которыми я раньше никогда не разговаривал о Маргарите, с вопросом:

– Вы знали Маргариту Готье?

– Даму с камелиями?

– Да.

– Конечно!

Эти «конечно!» сопровождались иногда улыбками, довольно-таки недвусмысленными.

– А что она представляла собой? – продолжал я.

– Хорошая была девушка.

– И это все?

– Ну да, пожалуй, она была умнее и добрее других.

– И вы ничего особенного о ней не знаете?

– Она разорила барона Г.

– И только?

– Она была любовницей старого герцога.

– Она действительно была его любовницей?

– Говорят. Во всяком случае он ей давал много денег.

И всегда – одни и те же сведения.

А мне хотелось узнать что-нибудь о связи Маргариты с Арманом.

Я встретил как-то одного человека, который дружил со всеми известными женщинами. Я спросил его:

– Вы знали Маргариту Готье?

Ответом мне было все то же «конечно».

– Что это была за девушка?

– Красивая и добрая. Ее смерть причинила мне большое горе.

– У нее был любовник Арман Дюваль?

– Высокого роста, блондин?

– Да.

– Был.

– А что собой представляет Арман?

– Молодой человек, который прожил с ней то немногое, что у него было, и, по-видимому, был вынужден ее бросить. Говорят, он был от нее без ума.

– А она?

– Она тоже его очень любила, как говорят, но по-своему. От этих женщин нельзя требовать больше, чем они могут дать.

– Что стало с Арманом?

– Не знаю. Мы его мало знали. Он жил с Маргаритой пять-шесть месяцев, но в деревне. Когда она вернулась, он уехал.

– И вы его не видели с тех пор?

– Ни разу.

Я тоже больше не видел Армана. Я подумывал, что, может быть, в момент его визита ко мне его любовь к Маргарите была преувеличена, а следовательно, и его страдания из-за недавно полученного известия о ее смерти, и что, может быть, он уже забыл и покойную, и свое обещание прийти ко мне.

Это предположение было бы весьма правдоподобно по отношению ко всякому другому человеку, но в отчаянии Армана звучали искренние ноты, и, переходя от одной крайности к другой, я решил, что печаль повела за собой болезнь и что я не получаю известий потому, что он болен и даже, может быть, умер.

Я невольно заинтересовался этим молодым человеком. Может быть, в этой заинтересованности был своего рода эгоизм, может быть, я угадывал под этим страданием трогательную повесть души, может быть, даже мое желание узнать ее сыграло главную роль в заботах об Армане.

Но, так как господин Дюваль не приходил ко мне, я решил к нему пойти. Предлог нетрудно было найти. К несчастью, я не знал его адреса, и, к кому ни обращался, никто не мог мне его указать.

Я отправился на улицу д'Антэн. Может быть, швейцар Маргариты знал, где живет Арман. Но там был новый швейцар. И он также ничего не знал. Я спросил тогда, на каком кладбище похоронена мадемуазель Готье. Оказалось, что на Монмартрском.

Стоял апрель, погода была прекрасная, могилы не имели уже того печального и унылого вида, какой им придает зима. Было к тому же достаточно тепло, так что живые могли вспомнить о мертвых и навестить их. Я отправился на кладбище, решив про себя, что при первом взгляде на могилу Маргариты увижу, жива ли еще печаль Армана, и узнаю, может быть, куда он девался.

Я зашел в сторожку и спросил у сторожа, не была ли похоронена на Монмартрском кладбище 22 февраля женщина по имени Маргарита Готье.

Сторож перелистал толстую книгу, в которой записаны и пронумерованы все, кто является в это последнее убежище, и ответил мне, что действительно 22 февраля, в полдень, была похоронена женщина, носившая такое имя.

Я попросил его проводить меня на ее могилу, так как трудно ориентироваться без проводника в этом городе мертвых, который, как и город живых, имеет свои глины. Сторож позвал садовника и дал ему необходимые указания, но тот прервал его словами:

– Знаю... знаю... Эту могилу очень легко узнать, – продолжал он, обращаясь ко мне.

– Почему? – спросил я.

– Потому что на ней совершенно особенные цветы.

– Вы за ними ухаживаете?

– Да, я бы очень хотел, чтобы все родные так же заботились о покойниках, как заботится тот молодой человек, который поручил мне эту могилу.

После некоторых поворотов садовник остановился и сказал:

– Вот мы и пришли.

И действительно, передо мной была клумба цветов, которую никак нельзя было бы принять за могилу, если бы не белая мраморная плита.

Мрамор был поставлен вертикально, и железная решетка отгораживала могилу, всю покры-

тую белыми камелиями.

– Как вам это нравится? – спросил садовник.

– Очень, очень.

– И я получил приказание менять камелии, как только они завянут.

– Кто же вам дал это приказание?

– Молодой человек, который очень плакал, когда пришел в первый раз, прежний приятель покойной должно быть. Ведь она была, по-видимому, веселого поведения. Говорят, она была очень красива. Вы ее знали?

– Да.

– Как и тот молодой человек, – сказал садовник, хитро улыбаясь.

– Нет, я ни разу с ней не разговаривал.

– И вы все-таки пришли сюда ее навестить, это очень мило с вашей стороны, у нее никто не бывает.

– Никто?

– Никто, за исключением этого молодого человека, который приходил один раз.

– Только один раз?

– Да, один.

– И с тех пор больше не приходил?

– Нет, но он придет, когда вернется.

– Он уехал?

– Да.

– А вы знаете, куда он поехал?

– Он поехал, кажется, к сестре мадемуазель Готье.

– А зачем?

– За разрешением выкопать покойницу и похоронить ее в другом месте.

– Почему он не хочет оставить ее здесь?

– Знаете, сударь, с мертвыми тоже свои церемонии. Мы это видим каждый день. Эти участки покупаются только на пять лет, а молодой человек хочет иметь в вечное владение и большой участок; тогда лучше перебраться на новое кладбище.

– Что вы называете новым кладбищем?

– Новые участки, которые продаются теперь на левой стороне. Если бы кладбище всегда так содержали, как теперь, не было бы другого такого на всем свете, но нужно еще многое переделать, для того чтобы все было как следует. А кроме того, у людей такие странные причуды!

– Что вы хотите этим сказать?

– Я хочу сказать, что некоторые остаются спесивыми даже здесь. Говорят, мадемуазель Готье жила довольно-таки легкомысленно, простите меня за выражение. Теперь барышня умерла, и от нее осталось столько же, сколько от тех, которых ни в чем нельзя упрекнуть и могилы которых мы поливаем каждый день. Ну, и когда родные тех, кто лежит рядом с ней, узнали, кто она такая, они вообразили, что должны восстать против этого и что должны быть особые кладбища для таких особ, так же, как для бедных. Слыхано ли это? Я их отлично знаю: толстые капиталисты, они не приходят и четырех раз в год навестить своих покойников, сами приносят, им цветы, и посмотрите, какие цветы! Не потратят лишнего франка на тех, кого они, по их словам, оплакивают, пишут на памятниках о своих слезах, которых они никогда не проливали, и делают соседям разные неприятности. Хотите – верьте, хотите – нет: я не знал этой барышни, я не знаю, что она сделала, и все-таки люблю эту бедняжку и забочусь о ней, приношу ей камелии по самой сходной цене. Эта – моя любимая покойница. Мы вынуждены любить мертвых, так как слишком заняты и у нас не остается времени любить что-нибудь другое.

Я смотрел на этого человека, и некоторые мои читатели поймут, какое волнение я испытывал.

Он заметил это, должно быть, и продолжал:

– Говорят, многие разорились из-за нее и у нее были любовники, которые ее обожали, но как подумаешь, что никто ей не принес ни одного цветочка, испытываешь грусть и тревогу. И ей еще нечего жаловаться: у нее есть своя могила и хоть один человек помнит о ней и заботится за всех остальных. Но у нас здесь лежат бедные девушки такого же звания и такого же возраста, их бросают в общую могилу, и у меня сердце болит, когда я слышу, как падают их тела в землю. И никто ими не интересуется после их смерти! Невеселое наше ремесло, особенно если у нас есть хоть немного сердца. Что поделаешь? Это сильнее меня. У меня есть дочь двадцати лет, и, когда к нам приносят покойницу в этом возрасте, я думаю о ней и, будь это знатная дама или бродяжка, начинаю волноваться. Но вам надоели мои рассказы, и вы не за этим пришли сюда. Мне велели провести вас на могилу мадемуазель Готье, вот она. Вам нужно еще что-нибудь от меня?

– Не знаете ли вы адрес господина Дюваля? – спросил я его.

– Знаю, он живет на улице N. Туда, по крайней мере, я ходил получать за цветы, которые вы здесь видите.

– Спасибо, мой друг.

Я бросил последний взгляд на цветущую могилу, которую мне невольно хотелось пронзить своим взглядом насквозь, чтобы посмотреть, что сделала земля с прекрасным созданием, которое ей бросили, и ушел, опечаленный.

– Вы хотите навестить господина Дюваля? – спросил садовник, идя рядом со мной.

– Да.

– Я уверен, что он еще не вернулся в Париж, иначе он, наверное, пришел бы сюда.

– Вы уверены, что он не забыл Маргариту?

– Я не только уверен, я готов биться об заклад, что он хочет переменить ей могилу только затем, чтобы ее снова увидеть.

– Как так?

– Первое, что он мне сказал, придя на кладбище: «Что нужно сделать, чтобы увидеть ее еще раз?» Это можно сделать, только если переменить могилу. И я ему объяснил все формальности, связанные с этим, ведь для того, чтобы перенести покойников из одной могилы в другую, нужно их признать, и только родные могут дать разрешение на этот акт, при котором присутствует чиновник из полиции. Вот за этим разрешением господин Дюваль и поехал к сестре мадемуазель Готье, и его первый визит будет, конечно, к нам.

Мы подошли к воротам кладбища, я снова поблагодарил садовника, сунув ему в руку несколько монет, и отправился по указанному адресу.

Арман не возвращался. Я оставил ему записку, в которой просил заехать ко мне по возвращении или известить меня, где я могу его видеть.

На следующий день утром я получил от Дюваля письмо, извещавшее меня о его приезде и с просьбой навестить его, так как он изнемогает от усталости и не может выйти.

VI

Я застал Армана в постели.

Он протянул мне горячую руку.

– Я вас жар! – сказал я.

– Пустяки, просто усталость от слишком быстрого путешествия.

– Вы были у сестры Маргариты?

– Да. Кто вам это сказал?

– Так, один человек. А вы получили то, что вам было нужно?

– Да. Но кто вам сказал о моем путешествии и о цели его?

– Садовник на кладбище.

– Вы видели могилу?

Я не знал, отвечать ему или нет: тон его вопроса показал, что он все еще взволнован. И я от-

ветил ему кивком головы.

– Он смотрит за, могилой? – продолжал Арман.

Две большие слезы скатились по щекам больного, и он отвернулся, чтобы скрыть их от меня. Я сделал вид, что не заметил, и попытался переменить разговор.

– Вот уже три недели, как вы уехали, – сказал я.

Арман провел рукой по глазам и ответил:

– Да, три недели.

– Вы долго путешествовали?

– Нет, я не все время путешествовал, я был болен две недели, иначе я давно бы вернулся. Едва я приехал туда, как схватил лихорадку и она продержала меня в постели.

– И вы уехали, не дождавшись полного выздоровления?

– Если бы я остался там еще неделю, я бы, наверное, умер.

– Но теперь вам нужно поберечь себя. Ваши друзья будут вас навещать. И я первый, если вы мне позволите.

– Через два часа я встану.

– Какое неблагоразумие!

– Это необходимо.

– Какое у вас неотложное дело?

– Мне нужно пойти в полицию.

– Почему вы не передадите кому-нибудь этого поручения, ведь вы можете серьезно заболеть?

– Это может меня исцелить. Я должен ее еще раз увидеть. Я не могу спать с тех пор, как узнал о ее смерти, и особенно с тех пор, как увидел ее могилу. Я не могу себе представить, что эта женщина, которую я оставил такой молодой и красивой, умерла. Нужно, чтобы я сам в этом убедился. Мне нужно самому увидеть, что Бог сделал с той, которую я так любил, и, может быть, это отвратительное зрелище вытеснит отчаяние от воспоминания. Вы пойдете со мной, не правда ли?... Это вам не очень неприятно?

– Что вам сказала ее сестра?

– Ничего. Ее, казалось, очень удивило, что какой-то чужой человек хочет купить землю, чтобы похоронить Маргариту, и она сейчас же дала мне на это разрешение.

– Поверьте мне, нужно с этим подождать до вашего полного выздоровления.

– Ничего, у меня хватит сил, будьте покойны. Кроме того, я с ума сойду, если не покончу с этим как можно скорее, ведь это стало для меня совершенно необходимо. Клянусь вам, я не успокоюсь, пока не увижу Маргариту. Может быть, меня сжигает лихорадочный жар, греза бессонных ночей, плод бреда, но я увижу ее, даже если бы мне пришлось после этого вступить в орден трапеперов, как господину де Ране.

– Я понимаю вас, – сказал я Арману, – и готов вас сопровождать. Вы видели Жюли Дюпре?

– Да. Я ее видел в первый же день по возвращении.

– Она вам передала бумаги, которые Маргарита у нее оставила для вас?

– Вот они.

Арман вытащил из-под подушки связку бумаг и снова положил ее туда.

– Я знаю наизусть то, что там написано, – сказал он. – Все эти три недели я перечитывал их по десять раз в день. Вы тоже их прочтете, но позднее, когда я успокоюсь и сумею вам пояснить, насколько эта исповедь полна нежности и любви. Теперь я попрошу вас об одной услуге.

– Вас ждет внизу экипаж?

– Пожалуйста, возьмите мой паспорт и поезжайте с ним на почту, там нужно получить для меня письма до востребования. Отец и сестра должны были написать мне в Париж, а я уехал так поспешно, что не мог справиться о письмах. Когда вы вернетесь, мы вместе поедem в полицию, чтобы предупредить о завтрашней церемонии.

Арман передал мне свой паспорт, и я отправился на улицу Жан-Жака Руссо. Там было два

письма на имя Дюваля. Я взял их и вернулся.

К моему возвращению Арман был уже совершенно готов.

– Спасибо, – сказал он, беря у меня письма. – Да, это от отца и сестры, – добавил он, посмотрев на адрес. – Они, наверное, были очень удивлены моим молчанием.

Он распечатал письма и скорее угадал, чем прочел их содержание, так как каждое было по четыре страницы, и через секунду он снова их сложил.

– Едем, – сказал он, – я отвечу завтра.

Мы отправились в полицию, и Арман передал чиновнику разрешение сестры Маргариты.

Чиновник дал ему пропускной лист к кладбищенскому сторожу. Мы условились, что перенесение тела состоится на следующий день, в десять часов утра, я заеду за ним, и мы вместе отправимся на кладбище.

Мне очень хотелось присутствовать при этом зрелище, и, признаюсь, я не спал всю ночь.

Судя по тому, какие мысли одолевали меня, для Армана это была долгая ночь.

Когда на следующий день в девять утра я пришел к нему, он был страшно бледен, но казался спокойным. Он улыбнулся мне и протянул руку.

Свечи у него догорели до конца. Перед уходом он взял толстое письмо, адресованное отцу и заключавшее, по-видимому, его ночные впечатления.

Через полчаса мы были на кладбище. Чиновник уже ждал нас. Мы медленно пошли по направлению к могиле Маргариты. Чиновник шел впереди, Арман и я следовали за ним.

Время от времени я чувствовал, как вздрагивала рука моего спутника, точно судорога внезапно пробегала по его телу. Тогда я поднимал на него глаза, он понимал мой взгляд и улыбался. С того момента, как мы вышли от него, мы оба не проронили ни слова.

Неподалеку от могилы Арман остановился, чтобы вытереть лицо, покрытое крупными каплями пота.

Я воспользовался этой остановкой, чтобы перевести дух, так как сердце мое было как в тисках.

Откуда появляется это болезненное удовольствие от подобного зрелища! Когда мы подошли к могиле, цветы уже были убраны, железная решетка снята, и два человека копали землю.

Арман прислонился к дереву и смотрел. Казалось, перед его глазами прошла вся его жизнь. Вдруг один из заступов ударился о камень... Арман пошатнулся, глубоко потрясенный, и так сильно сжал мою руку, что я почувствовал боль.

Один из могильщиков взял широкую лопату и начал выбрасывать землю, а когда там остались одни камни, которыми покрывают гроб, начал их выбрасывать.

Я наблюдал за Арманом, так как я боялся каждое мгновение, что он не вынесет всего этого, но он продолжал смотреть безумными, широко раскрытыми глазами.

Про себя могу сказать, что я очень жалел о том, что пришел.

Когда гроб был отрыт, чиновник сказал могильщикам:

– Откройте.

Люди послушались, будто это была самая простая вещь на свете.

Гроб был дубовый. Могильщики начали отвинчивать верхнюю крышку. От сырости винты заржавели, и им с трудом удалось открыть ее.

– Боже, боже! – прошептал Арман. И еще больше побледнел.

Даже могильщики отшатнулись.

Большой белый саван покрывал труп, обрисовывая его линии. Саван был почти совершенно изъеден в одном конце. Одна нога покойницы была обнажена.

Мне едва не стало дурно, и теперь, когда я пишу эти строки, воспоминание об этой сцене представляется мне во всей своей ужасающей реальности.

– Нужно поспешить, – сказал чиновник.

Тогда один из могильщиков начал развертывать саван и, взяв его за конец, внезапно открыл лицо Маргариты.

Было ужасно смотреть, но ужасно и рассказывать.

Вместо глаз были две впадины, губы провалились, и белые зубы тесно сжались. Длинные, сухие черные волосы прилипли к вискам и немного прикрывали зеленые впадины щек, и все-таки я узнавал в этом лице розовое, веселое лицо, которое я так часто видел.

Арман не мог оторвать взора от этого лица, он поднес платок ко рту и кусал его.

Что касается меня, то словно железный обруч сдавил мне голову, передо мной все плыло, шум стоял в ушах, и единственное, что я мог сделать, – это открыть флакон, который захватил на всякий случай, и понюхать соль.

В это время чиновник спрашивал у господина Дюваля:

– Вы узнаете?

– Да, – глухо ответил он.

– Тогда закройте и несите, – сказал чиновник.

Могильщики набросили саван на лицо покойницы, закрыли гроб, подняли его и понесли к указанному месту.

Арман не двигался. Его взгляд был прикован к пустой яме, он был бледен, как труп, который мы только что видели... Он как бы окаменел.

Я почувствовал, что должно будет произойти, когда все закончится: страдание уменьшится и не будет его больше поддерживать.

Я подошел к чиновнику.

– Присутствие этого господина, – сказал я, указывая на Армана, – необходимо в дальнейшем?

– Нет. Я даже посоветую вам увести его, потому что он, по-видимому, болен.

– Пойдемте, – сказал я Арману, взяв его под руку.

– Что? – спросил он, глядя на меня непонимающими глазами.

– Уже все кончено, нужно уходить, мой друг, вы бледны, вам холодно, вы убьете себя этими волнениями.

– Вы правы, пойдемте, – ответил он многозначительно, но не сделал ни шага.

Я подхватил его под руку и потащил за собой.

Он дал себя увести, как маленького ребенка, бормоча время от времени:

– Вы видели глаза? – И оборачивался, как будто этот призрак преследовал его.

Походка его стала неровной, он двигался какими-то толчками, зубы его стучали, руки были холодны, нервная дрожь пробегала по всему телу.

Я обратился к нему с вопросом, он мне не ответил. Он позволял только тащить себя.

У выхода мы нашли извозчика. И пора уже было ехать.

Как только он сел в экипаж, дрожь усилилась и с ним начался сильнейший нервный припадок. Не желая меня пугать, он бормотал, сжимая мне руки:

– Это ничего, это ничего, мне хочется плакать.

И я видел, как его грудь вздымалась, глаза наливались кровью, но слезы не показывались. Я дал ему понюхать флакон, который раньше пригодился мне.

Когда мы приехали к нему, он был все еще возбужден. С помощью слуги я уложил его в постель, велел затопить печку и побежал за своим доктором, которому я рассказал все, что произошло.

Арман лежал в сильнейшем жару, у него был бред, и он бормотал бессвязные слова, среди которых ясно слышалось имя Маргариты.

– Ну что? – спросил я доктора, когда он осмотрел больного.

– Ни больше ни меньше как воспаление мозга, и это счастье для него. Физическая болезнь убьет нравственную боль, и через месяц он будет здоров.

VII

Болезни, подобные той, которая сломила Армана, или убивают сразу же, или поддаются быстрому излечению.

Через две недели после событий, о которых я только что рассказывал, дела Армана пошли на поправку, и между нами завязалась тесная дружба. Я почти не выходил из его комнаты, пока он болел.

Весна принесла обилие цветов, трав, птиц, песен. Окно моего друга было широко раскрыто в сад, из которого доносилось благоухание.

Доктор разрешил ему вставать, и мы часто беседовали, сидя у раскрытого окна в те часы, когда солнце светило особенно ярко, между двенадцатью и двумя.

Я старался не заговаривать о Маргарите, опасаясь, как бы это имя не воскресило печальных воспоминаний, но Арман, наоборот, казалось, находил удовольствие в разговоре о ней, и говорил он уже не так, как раньше, со слезами на глазах, а с такой улыбкой, которая вселяла в меня надежду насчет его душевного состояния.

Я заметил, что со времени его последнего посещения кладбища, которое привело его к ужасному кризису, наблюдаются перемены, и смерть Маргариты не представлялась ему более в прежнем виде. Казалось, он нашел некоторое утешение и, чтобы прогнать мрачные мысли, которые часто посещали его, погрузился в счастливые воспоминания о своей связи с Маргаритой.

Тело было слишком изнурено болезнью и выздоровлением, чтобы допускать сильные душевные волнения, а весенняя природа, которая окружала Армана, влияла на него исцеляюще.

Он все время упорно отказывался известить родных об опасности, которой подвергался.

Однажды вечером мы засиделись у окна дольше, чем обыкновенно. Погода была чудесная, и солнце заходило в ярком багрянце. За зеленью мы не видели улицы, и только шум экипажа время от времени прерывал наш разговор.

– Приблизительно в это время года и в такой вечер я познакомился с Маргаритой, – сказал Арман, прислушиваясь к своим собственным мыслям, а не к тому, что я говорил ему.

Я ничего не ответил. Тогда он обернулся ко мне:

– Я вам должен рассказать все. Вы напишете книгу, которой, может быть, не поверят, но все-таки вам интересно будет ее написать.

– Вы мне расскажете позднее, мой друг, вы еще не совсем поправились.

– Вечер теплый, и я съел крылышко цыпленка, – сказал он, улыбаясь, – у меня нет жара, нам нечего делать, я вам расскажу все.

– Если вы так хотите, я вас слушаю.

– Это очень простая история, – добавил он, – и я расскажу все по порядку. Если вы захотите ею воспользоваться, можете ее пересказать, как вам угодно.

Вот что он поведал мне, и я почти ничего не изменил в этом трогательном рассказе.

– Да, – продолжал Арман, откинув голову на спинку своего кресла, – это случилось в такой же вечер, как сегодняшний! Я провел утро за городом, с моим другом Гастоном Р. Вечером мы вернулись в Париж и, не зная, что нам предпринять, зашли в театр «Варьете».

Во время антракта мы вышли и в коридоре встретили высокую даму, с которой мой друг раскланялся.

– Кому вы поклонились? – спросил я.

– Маргарите Готье, – ответил он.

– Она очень изменилась, я даже не узнал ее, – сказал я с волнением, причину которого вы сейчас поймете.

– Она была больна. Несчастной недолго осталось жить.

Я вспоминаю эти слова, как будто они были произнесены вчера.

Нужно заметить, мой друг, что эта девушка уже два года производила на меня странное впечатление.

Не знаю сам почему, но я бледнел, и сердце начинало усиленно биться. Один из моих друзей занимается оккультными науками, и он назвал бы то, что я испытывал, родством флюидов. Я же верю просто в то, что мне предназначено было полюбить Маргариту, и я это предчувствовал.

Она всегда производила на меня сильное впечатление.

Первый раз я увидел ее на Биржевой площади у дверей магазина, где остановилась открытая коляска. Из нее вышла дама в белом платье. Шепот восторга встретил ее появление в магазине. Что касается меня, то я стоял как вкопанный. Я видел через окно, как она выбирала что-то на прилавке. Я мог бы войти, но не решался. Я не знал, кто эта женщина, и боялся, что она догадается о причине моего появления в магазине и обидится. Я не думал, что снова увижу ее.

Она была изящно одета: муслиновое платье, все в оборках, клетчатая кашемировая шаль с каймой, вышитой золотом и шелком, шляпа итальянской соломки, на руке браслет в виде толстой золотой цепи, только что вошедшей в моду.

Она села в коляску и уехала.

Один из приказчиков магазина стоял на пороге, следя глазами за экипажем изящной покупательницы. Я подошел к нему и спросил имя этой дамы.

– Это Маргарита Готье, – ответил он.

Я не решился спросить у него ее адрес и ушел.

Воспоминание об этом видении – я не могу назвать его иначе – не исчезло у меня из головы, как и другие, прежние видения, и я повсюду искал эту белую женщину, царственно прекрасную.

Через несколько дней было большое представление в Орега Comique. Я отправился туда. И сразу увидел в ложе бельэтажа Маргариту Готье.

Мой приятель, с которым я был вместе, тоже ее узнал и указал мне на нее:

– Посмотрите, какая хорошенькая женщина!

В это время Маргарита взглянула в нашу сторону, заметила моего друга, улыбнулась ему и сделала знак зайти к ней.

– Я пойду поздороваюсь с ней, – сказал он, – и сейчас же вернусь.

Я не мог удержаться и сказал ему:

– Какой вы счастливец!

– Почему?

– Вы пойдете к этой женщине.

– Вы влюблены в нее?

– Нет, – ответил я, краснея, так как сам не знал, как определить свое чувство, – но мне бы очень хотелось с ней познакомиться.

– Пойдемте со мной, я вас представлю.

– Попросите сначала у нее позволения.

– Ну что вы, с ней нечего церемониться, идемте.

Мне было неприятно слышать то, что он говорил.

Я боялся убедиться в том, что Маргарита не заслуживала того чувства, которое я к ней испытывал.

В романе Альфонса Карра ⁵ «Am Rauchen» говорится о человеке, преследовавшем однажды вечером изящную даму, в которую влюбился с первого взгляда, так она была хороша. Желание поцеловать руку этой дамы придавало ему мужества. Однако он не решался даже посмотреть на кокетливую ножку, которая выглядывала из-под приподнятого платья. В то время как он мечтал о том, что он сделает, чтобы обладать этой женщиной, она остановила его на углу улицы и предложила пойти к ней. Он отвернулся, перешел улицу и печальный возвратился домой.

Я вспомнил эту сценку и испугался, что Маргарита примет меня слишком скоро и слишком скоро подарит любовь, за которую я хотел заплатить долгим ожиданием и большими жертвами. Таковы мы, мужчины. Счастье наше, что воображение делает поэтичными наши чувства.

Если бы мне сказали: «Сегодня вы будете обладать этой женщиной, но завтра будете убиты», я бы согласился. Если бы мне сказали: «Дайте десять луидоров – и вы будете ее любовником», я бы отказался и заплакал, как ребенок, у которого поутру исчезает замок ночных сновиде-

⁵ Французский писатель XIX века.

ний.

Однако мне хотелось с ней познакомиться, а тут представлялась возможность, и, быть может, единственная, узнать, как мне следует при этом держаться.

Я еще раз попросил своего друга представить меня с ее согласия и стал бродить по коридорам, думая о том, что сейчас увижу ее и не буду знать, как себя держать в ее присутствии.

Я хотел обдумать заранее то, что скажу ей.

Любовь делает смешным.

Вскоре мой приятель вернулся.

– Она ждет нас, – сказал он.

– Она одна? – спросил я.

– С ней еще одна женщина.

– Мужчин нет?

– Нет.

– Идем.

Мой приятель направился к выходу.

– Вы не туда идете, – сказал я.

– Нужно сначала купить конфеты. Она просила меня.

Мы зашли в кондитерскую в Пассаже. Мне хотелось купить всю лавочку, и я выискивал, чем бы наполнить коробку, когда мой приятель произнес:

– Фунт засахаренного винограда.

– Она любит его?

– Она ест только эти конфеты. Послушайте, – продолжал он, когда мы вышли, – вы знаете, с кем я вас познакомлю? Не думайте, пожалуйста, что это герцогиня, это просто содержанка, самая настоящая содержанка, поэтому не стесняйтесь и говорите все, что вам взбредет в голову.

– Хорошо, хорошо, – пробормотал я.

И я шел за ним, уверяя себя, что теперь исцелюсь от своей страсти.

Когда я входил в ложу, Маргарита громко смеялась. Мне бы хотелось, чтобы она была грустной.

Мой друг представил меня. Маргарита слегка кивнула головой и спросила:

– А мои конфеты?

– Вот они.

Взяв их, она посмотрела на меня. Я опустил глаза и покраснел.

Она наклонилась к соседке, сказала ей несколько слов на ухо, и обе начали безудержно смеяться. По-видимому, я был причиной их веселья, и мое смущение от этого усилилось.

У меня была в это время любовница, очень нежная и сентиментальная, ее сентиментальность и меланхолические письма заставляли меня смеяться. Теперь только я понял, какую боль я причинял ей этим; и в продолжение пяти минут я любил ее так, как никто никогда не любил ни одной женщины.

Маргарита расправлялась с виноградом, не обращая на меня внимания.

Приятель захотел вывести меня из этого смешного положения.

– Маргарита, – начал он, – вы не должны удивляться, что господин Дюваль не произносит ни слова: вы так его ошеломили, что он не находит их.

– А мне кажется, что ваш друг пошел с вами сюда потому, что вам скучно было идти одному.

– Если бы это было так, – возразил я, – я не просил бы Эрнеста получить ваше согласие, прежде чем представить меня вам.

– Вероятно, это был лишь предлог, чтобы отсрочить неизбежную минуту.

Всякий знает по опыту, что такие девушки, как Маргарита, любят насмешничать и дразнить людей, которых они видят в первый раз. Это, вероятно, в отместку за унижения, которые они часто терпят со стороны тех, кого видят каждый день.

Чтобы им отвечать, нужно иметь навык, а его-то я не имел, к тому же представление, которое я себе составил о Маргарите, еще усиливало впечатление от ее шуток; все в этой женщине волновало меня. Я встал и произнес с дрожью в голосе, которую никак не мог скрыть:

– Если вы так думаете обо мне, сударыня, мне остается только попросить у вас извинения за свою нескромность и откланяться. Можете быть уверены, что в другой раз я не осмелюсь на это.

Затем поклонился и вышел.

Не успел я закрыть за собой двери, как услышал новый взрыв смеха. Мне очень хотелось, чтобы кто-нибудь задел меня в этот момент локтем.

Я вернулся на свое место.

Раздался третий звонок. Эрнест пришел и сел рядом со мной.

– Как вы себя вели! – сказал он, садясь. – Они вас приняли за сумасшедшего.

– Что сказала Маргарита, когда я ушел?

– Она смеялась и уверяла меня, что никогда в жизни не видела такого чудака. Но не нужно придавать серьезное значение этому происшествию. Не оказывайте этим женщинам слишком большой чести – не относитесь к ним серьезно. Им совершенно незнакома вежливость. Знаете, когда собак обливают духами, они начинают кататься по лужам, чтобы заглушить этот запах.

– Что мне за дело до этого? – сказал я, стараясь выдержать безразличный тон. – Я никогда больше не встречусь с этой женщиной, и если она мне нравилась раньше, то мое отношение совершенно изменилось теперь, когда я с ней познакомился.

– Ну, я не сомневаюсь, что увижу вас когда-нибудь в ее ложе и услышу, что вы просаживаете на нее все состояние. Конечно, вы правы, она дурно воспитана, но это завидная любовница.

К счастью, подняли занавес, и мой друг замолчал. Не могу вам сказать, что играли. Помню только, что время от времени я поднимал глаза на ложу, из которой так внезапно ушел, и что все новые и новые посетители сменялись там каждую минуту.

Однако я не мог не думать о Маргарите. Новое чувство овладевало мной. Мне казалось, что я должен заставить себя забыть ее оскорбление и свой позор. Я говорил себе, что потеряю все свое состояние, но буду обладать этой женщиной и по праву займу место, которое я так быстро оставил.

Еще до окончания спектакля Маргарита с подругой покинули ложу. Невольно и я поднялся со своего места.

– Вы уходите? – спросил Эрнест. – Почему?

В это время он заметил, что ложа опустела.

– Идите, идите, – сказал он, – желаю вам успеха.

Я вышел.

Услышав на лестнице шелест платьев и шум голосов, я стал в сторонке и увидел обеих женщин в сопровождении двоих молодых людей.

У выхода к ним подошел маленький грум.

– Скажи кучеру, чтобы он ждал нас около *café Anglais*, – сказала Маргарита, – мы пойдем туда пешком.

Через несколько минут, бродя по бульвару, я увидел в окне большого ресторана Маргариту, она опиралась рукой о подоконник и обрывала один за другим цветки камелий.

Один из молодых людей, наклонившись к ней, что-то шепотом ей говорил.

Я сел в ресторане напротив, в зале первого этажа и не терял из виду интересовавшего меня окна.

В час ночи Маргарита села в коляску вместе со всеми.

Я взял извозчика и поехал за ними следом.

Коляска остановилась у дома № 9.

Маргарита вышла и одна поднялась наверх.

По всей вероятности, это было случайностью, но эта случайность сделала меня счастливым.

С этого дня я часто встречал Маргариту в театре, на Елисейских полях. Она всегда была весела, я – всегда взволнован.

Прошло две недели, но я ее нигде не встречал. Я увиделся с Гастоном и спросил о ней.

– Она очень больна, – ответил он.

– Что с ней?

– У нее больные легкие, и, так как ее образ жизни не может способствовать выздоровлению, она слегла и близка к смерти.

Сердце наше странно устроено: я как будто обрадовался ее болезни.

Каждый день я ходил справляться о ее здоровье, но не расписывался в книге и не посылал карточки. Я узнал таким образом о ее выздоровлении и отъезде в Баньер.

Так прошло много времени. В моей памяти мало-помалу сглаживалось непосредственное впечатление, но воспоминание оставалось. Я путешествовал. Связи, привычки, занятия вытеснили память о той встрече, и когда я вспоминал об этом происшествии, то видел в нем только страсть очень молодого человека, страсть, над которой позже смеются.

В конце концов жизнь одержала победу над воспоминанием; я потерял Маргариту из виду со времени ее отъезда и, как я вам уже рассказывал, когда она прошла мимо меня по коридору «Варьете», не узнал ее. Правда, она была под вуалью, но раньше, два года тому назад, мне не нужно было бы видеть ее лицо, чтобы узнать, я бы почувствовал ее.

Мое сердце все-таки забилося, когда я узнал, что это она, и двух лет, проведенных в разлуке, словно не бывало.

VIII

– Однако, поняв, что я по-прежнему влюблен, – продолжал Арман после небольшой паузы, – я вместе с тем почувствовал себя сильнее, чем раньше, и у меня было желание встретиться с Маргаритой, чтобы показать ей, что я больше не нуждаюсь в ней.

Какими доводами, какими уловками пользуется сердце, чтобы добиться желаемых результатов!

Я не мог дольше оставаться в коридоре, вернулся на свое место в партере и окинул быстрым взглядом всю залу, чтобы найти ее ложу.

Маргарита была в бенуаре совсем одна. Она сильно изменилась, как я вам говорил, и на ее губах я уже не находил больше безразличной улыбки. Она много выстрадала и, видимо, не переставала страдать.

Уже наступил апрель, а она была одета по-зимнему – вся в бархате.

Я смотрел на нее так упорно, что мой взгляд привлек ее внимание.

Она смотрела на меня несколько секунд, потом взяла лорнет, чтобы лучше разглядеть, и, должно быть, узнала, но не могла точно вспомнить, кто я. Когда она отложила лорнет, по ее губам скользнула улыбка, приветливая улыбка женщины в ответ на поклон, которого она как бы ждала от меня, но я не ответил на ее улыбку. Я хотел иметь над ней превосходство и забыть в тот момент, когда она вспомнила, кто я.

Ей показалось, что она ошиблась, и она отвернулась.

Подняли занавес.

Я часто видел Маргариту в театре, но никогда она не интересовалась тем, что играли.

Что касается меня, то спектакль меня тоже очень мало занимал и я все время следил за ней, стараясь чтобы она этого не замечала.

Я видел, что она обменялась взглядом с женщиной, занимавшей ложу напротив, я посмотрел на эту лож и узнал в ней свою хорошую знакомую. Раньше она была на содержании, потом поступила на сцену, но не имела успеха. Теперь, рассчитывая на свои связи с парижскими кокетками, занялась коммерцией и открыла модную мастерскую.

Я решил с ее помощью встретиться с Маргаритой. Воспользовавшись моментом, когда она посмотрела в мою сторону, я приветствовал ее жестом и взглядом.

То, чего я ожидал, случилось: она меня позвала в свою ложу.

Прюданс Дювернуа была толстой сорокалетней женщиной, с ней не нужно было церемо-

ниться, чтобы узнать все, что захочешь.

Я дождался, когда она снова стала переглядываться с Маргаритой, и спросил ее:

– На кого это вы так смотрите?

– На Маргариту Готье.

– Вы ее знаете?

– Да, я делаю ей шляпы, и она живет рядом со мной.

– Вы живете на улице д'Антэн?

– В седьмом номере. Окно ее уборной находится напротив моего.

– Говорят, она мила.

– Вы с ней не знакомы?

– Нет, но мне бы очень хотелось с ней познакомиться.

– Хотите, я позову ее к нам в ложу?

– Нет, я предпочитаю, чтобы вы меня представили ей.

– У нее?

– Да.

– Это труднее.

– Почему?

– Потому, что ей покровительствует очень ревнивый старый герцог.

– «Покровительствует»! Это мило.

– Да, покровительствует, – сказала Прюданс. – Бедный старик, должно быть, не сумел стать ее любовником.

Прюданс рассказала мне, как Маргарита познакомилась с герцогом в Баньере.

– Поэтому она одна здесь? – продолжал я.

– Конечно.

– Но кто ее проводит?

– Он.

– Он приедет за ней?

– Сию минуту.

– А кто вас проводит?

– Никто.

– Предлагаю вам свои услуги.

– Но вы не один.

– Располагайте нами обоими.

– Кто ваш друг?

– Очень милый и умный малый, он будет весьма рад познакомиться с вами.

– Хорошо, согласна, по окончании спектакля мы уедем вместе.

– Отлично, я только предупрежу своего приятеля.

– Идите.

– Посмотрите, – сказала Прюданс, когда я выходил из ложи, – вот герцог входит в ложу Маргариты.

Я взглянул. Действительно, позади молодой женщины уселся семидесятилетний старик и подал ей мешочек с конфетами, которые она сейчас же начала с улыбкой доставать, потом она положила его на барьер ложи и сделала Прюданс знак глазами, казалось говоривший: «Не хотите ли?»

– Нет, – ответила Прюданс.

Маргарита опять взяла мешочек, повернулась к герцогу и начала болтать с ним.

Смешно рассказывать все эти подробности, но все, что касается этой женщины, так свежо в моей памяти, что я не могу не рассказать об этом.

Я пошел предупредить Гастона о том, что решил за него и за себя. Он согласился.

Мы оставили свои места и отправились в ложу мадам Дювернуа.

Едва мы открыли дверь из партера, как должны были остановиться и пропустить выходявших Маргариту и герцога.

Я отдал бы десять лет жизни за то, чтобы быть на месте этого старика.

На бульваре он усадил ее в фаэтон, которым сам правил, и они исчезли из виду.

Мы вошли в ложу Прюданс.

Когда пьеса была окончена, мы сели на простого извозчика и поехали на улицу д'Антэн. У дверей своего дома Прюданс предложила нам зайти к ней посмотреть мастерскую, которой она очень гордилась. Вы поймете, с каким восторгом я согласился.

Мне казалось, что я мало-помалу приближаюсь к Маргарите, и вскоре перевел разговор на нее.

– Старый герцог у вашей соседки? – спросил я Прюданс.

– Нет, она, вероятно, одна дома.

– Но ей, должно быть, ужасно скучно, – сказал Гастон.

– Мы почти всегда проводим вечера вместе, и когда она возвращается, то зовет к себе меня. Она никогда не ложится раньше двух часов ночи, так как не может уснуть раньше.

– Почему?

– Потому, что у нее больные легкие и почти всегда повышенная температура.

– У нее нет любовников? – спросил я.

– У нее никто не остается, когда я ухожу, но не ручаюсь, что кто-нибудь не приходит, когда меня нет. Я часто встречаю у нее вечером некоего графа N. Он хочет понравиться ей тем, что приходит в одиннадцать часов и посылает ей массу драгоценностей, но она его презирает. Она не права, он очень богат. Я часто говорю ей: «Дорогая моя, вам такого человека и нужно!»

В других случаях она меня слушает, но тут упрямится и отвечает, что он слишком глуп. Пускай он глуп, не спорю, но ведь он дал бы ей положение, тогда как этот старый герцог может умереть со дня на день. Старики – эгоисты; семья постоянно упрекает его за привязанность к Маргарите – вот две причины, по которым он ей ничего не оставит. Я разъясняю ей все это, а она отвечает, что никогда не опоздает забрать графа после смерти герцога. Вовсе не весело, – продолжала Прюданс, – жить так, как она живет. Я отлично знаю, что мне бы это не подошло и я прогнала бы прочь этого старикашку. Он несносен, зовет ее своей дочкой и постоянно следит за ней. Я уверена, что сейчас кто-нибудь из его слуг стоит на улице и следит, кто выходит от нее и особенно кто входит.

– Ах, бедная Маргарита, – сказал Гастон, садясь за пианино и наигрывая вальс, – я не знал этого. Недаром мне казалось, что последнее время она не так весела.

– Шш! – сказала Прюданс, прислушиваясь.

Гастон остановился.

– Мне показалось, она зовет меня.

Мы прислушались. Действительно, какой-то голос звал Прюданс.

– Ну, господа, уходите, – сказала нам мадам Дювернуа.

– Ах, вы так понимаете гостеприимство, – сказал Гастон со смехом. – Мы уйдем, когда захотим сами. Зачем нам уходить?

– Я иду к Маргарите.

– Мы подождем здесь.

– Этого нельзя.

– Тогда мы пойдем с вами.

– Этого тоже нельзя.

– Я знаком с Маргаритой, – сказал Гастон, – и вполне могу нанести ей визит.

– Но Арман не знаком с ней.

– Я его представляю.

– Это невозможно.

Мы снова услышали голос Маргариты, звавшей Прюданс.

Прюданс побежала в свою уборную, мы за ней. Она открыла окно.

Мы спрятались, чтобы нас не было видно снаружи.

– Я зову вас целых десять минут, – сказала Маргарита из своего окна сердитым голосом.

– Что вам нужно?

– Приходите сию минуту.

– Зачем?

– Граф N. сидит у меня и до смерти мне надоел.

– Я не могу сейчас прийти.

– Почему?

– У меня сидят двое молодых людей и не хотят уходить.

– Скажите им, что вам необходимо выйти.

– Я им уже говорила.

– Ну так бросьте их. Когда они увидят, что вы ушли, они тоже уйдут.

– Они все перевернут вверх дном.

– Но что им надо?

– Они хотят видеть вас.

– Как их зовут?

– Одного вы знаете, Гастон Р.

– Да, я его знаю, а другой?

– Арман Дюваль. Вы его не знаете?

– Нет. Ну, приведите их обоих с собой, все же лучше, чем граф. Я жду вас, поторопитесь.

Маргарита закрыла окно, Прюданс тоже.

Маргарита раньше вспоминала мое лицо, но в памяти у нее не осталось моего имени. Я предпочел бы неприятное воспоминание этому полному забвению.

– Я знал, – сказал Гастон, – что она с восторгом нас примет.

– Ну, восторг тут ни при чем, – ответила Прюданс, надевая шаль и шляпу. – Она вас принимает только затем, чтобы прогнать графа. Постарайтесь произвести на нее более приятное впечатление, не то она со мной поссорится: я знаю Маргариту.

Мы спустились вниз.

Я дрожал, мне казалось, что этот визит будет иметь решающее значение в моей жизни. Я был еще больше взволнован, чем в тот вечер, когда впервые был ей представлен в оперетте. Когда я подходил к дверям знакомой вам квартиры, сердце у меня билось так сильно, что мысли мои путались.

До нас донеслись звуки рояля. Прюданс позвонила. Звуки рояля умолкли.

Нам открыла дверь женщина, которая была больше похожа на компаньонку, чем на горничную.

Мы прошли в гостиную, а из гостиной в будуар, который имел такой же вид, как и тогда, когда вы его видели. Какой-то молодой человек стоял, прислонившись к камину. Маргарита сидела у пианино, пальцы ее бегали по клавишам, она начинала какую-нибудь вещь и не кончала.

Вся эта картина производила впечатление скуки: молодого человека тяготило его собственное ничтожество, женщину – присутствие этой мрачной особы.

Услышав голос Прюданс, Маргарита поднялась нам навстречу, обменявшись с мадам Дювернуа взглядом благодарности.

– Входите, господа, милости просим.

IX

– Здравствуйте, Гастон, – сказала Маргарита моему приятелю, – я очень рада вас видеть. Почему вы не зашли ко мне в ложу в «Варьете»?

– Я боялся быть некстати.

– Друзья, – Маргарита сделала ударение на этом слове, чтобы дать понять всем присутствующим, что, несмотря на фамильярное обращение с Гастоном, он был всегда только ее другом, – никогда не бывают некстати.

– Позвольте мне в таком случае представить вам моего друга Армана Дюваля.

– Я дала свое согласие Прюданс.

– Я уже имел раз честь быть вам представленным, – поклонившись, сказал я едва слышно.

Маргарита всматривалась в меня и старалась припомнить, но не могла или делала вид, что не может.

– Сударыня, – продолжал я, – я вам очень благодарен, что вы забыли об этом первом знакомстве, потому что я был весьма смешон и показался вам, вероятно, очень скучным. Это было два года назад в оперетте, я был с Эрнестом.

– Да, я вспоминаю! – сказала Маргарита с улыбкой. – Нет, не вы были смешны, а я смешлива. Впрочем, я и теперь легко смеюсь, но не так, как раньше. Вы простили меня?

Она протянула мне руку, и я поцеловал ее.

– Знаете, – продолжала она, – у меня есть дурная привычка сбивать с толку людей, которых я вижу в первый раз. Это очень глупо. Мой доктор говорит, что это оттого, что я очень нервная и всегда больная. Вы должны поверить моему доктору.

– Но у вас цветущий вид.

– Ах, я была очень больна.

– Я знаю.

– Кто вам сказал?

– Все это знали. Я часто приходил справляться о вашем здоровье и обрадовался, узнав о вашем выздоровлении.

– Мне никогда не подавали вашей карточки.

– Я никогда не оставлял ее.

– Так это вы приходили каждый день справляться о моем здоровье и ни разу не хотели назвать свое, имя?

– Да, я.

– Значит, вы не только снисходительны, вы великодушны. Вы, граф, не сделали бы этого, – прибавила она обращаясь к графу N., и бросила на меня один из тех взглядов, которыми женщины дополняют свои слова.

– Я с вами знаком только два месяца.

– А этот господин знал меня только пять минут. Вы всегда отвечаете невпопад.

Женщины безжалостны к людям, которых они не любят.

Граф покраснел и начал кусать губы.

Мне стало жаль его, потому что он был, по-видимому, так же влюблен, как и я, и жестокая откровенность Маргариты, особенно в присутствии посторонних, делала его очень несчастным.

– Вы играли, когда мы вошли, – сказал я, чтобы переменить разговор. – Пожалуйста, смотрите на меня как на старого знакомого и продолжайте.

– Ах, – сказала она, бросаясь на диван и делая нам знак, чтобы мы тоже сели, – Гастон знает мою музыку. Она может сойти наедине с графом, но вас я не хочу подвергать такой пытке.

– В этом вы мне оказываете предпочтение? – спросил граф, стараясь придать своей улыбке ироническое выражение.

– Напрасно вы меня укоряете в этом единственном предпочтении.

По-видимому, несчастный малый не мог сказать ни слова. Он бросил на молодую женщину умоляющий взгляд.

– Прюданс, – продолжала она, – вы сделали то, о чем я вас просила?

– Да.

– Отлично, после вы расскажете мне об этом. Мне нужно с вами поговорить, не уходите, пока я не поговорю.

– Мы, может быть, мешаем? – спросил я. – Теперь, когда состоялось вторичное знакомство и забыто первое, мы можем уйти.

– Зачем? Мои слова относятся не к вам. Напротив, я хочу, чтобы вы остались.

Граф вытащил роскошные часы и посмотрел, сколько времени.

– Мне пора в клуб.

Маргарита ничего не ответила.

Граф отошел от камина и подошел к ней.

– До свидания, сударыня.

Маргарита поднялась.

– До свидания, милейший граф, вы уже уходите?

– Да, я боюсь, что вам скучно со мной.

– Не больше, чем всегда. Когда мы вас опять увидим?

– Когда вы позволите.

– Прощайте.

Согласитесь, что это было жестоко.

Граф, к счастью, был очень хорошо воспитан и миролюбив по характеру. Он поцеловал небрежно протянутую руку Маргариты и вышел, поклонившись нам.

Переступая порог, он оглянулся на Прюданс.

Та пожала плечами, и жест ее, казалось, говорил: «Я сделала все, что могла».

– Нанина! – крикнула Маргарита. – Посвети господину графу.

Мы слышали, как открылась и закрылась дверь.

– Наконец-то! – воскликнула Маргарита, появляясь в будуаре. – Он уехал. Этот малый ужасно действует мне на нервы.

– Дорогая моя, – сказала Прюданс, – вы слишком суровы с ним. Он так хорошо, так внимательно относится к вам. Посмотрите, на камине лежат часы, которые он вам подарил, они стоят по крайней мере тысячу экю.

Мадам Дювернуа подошла к камину и поиграла драгоценностью, бросая на нее жадные взгляды.

– Дорогая, – сказала Маргарита, садясь к пианино, – когда я взвешиваю на одной чаше весов то, что он мне дарит, а на другой – то, что он мне говорит, мне кажется, что визиты ко мне обходятся ему слишком дешево.

– Бедный малый влюблен в вас.

– Если бы я выслушивала всех, кто в меня влюблен, у меня не хватало бы времени на обед. – И пальцы ее забегали по клавишам, но тут же она обернулась к нам и сказала: – Не хотите ли закусить? Мне очень хочется пуншу.

– А я с удовольствием съем кусочек цыпленка, – сказала Прюданс. – Не поужинать ли нам?

– Отличная идея, пойдемте, – сказал Гастон.

– Нет, мы поужинаем здесь.

Она позвонила. Явилась Нанина.

– Пошли за ужином.

– Что взять?

– Что хочешь, но поскорей, поскорей.

Нанина ушла.

– Ах как хорошо! – сказала Маргарита, подпрыгивая, как ребенок. – Мы поужинаем. Господи, какой несносный этот граф!

Чем дольше я видел эту женщину, тем больше она меня восхищала. Она была дивно хороша. Даже ее худоба была прелестна. Я не переставал ею любоваться.

Мне трудно объяснить, что во мне происходило. Я был полон снисходительности к ее образу жизни, я был полон восторга перед ее красотой. То бескорыстие, с которым она относилась к молодому человеку, изящному и богатому, готовому разориться для нее, извиняло в моих глазах все

ее былые ошибки.

В этой женщине была какая-то чистота. Видно было, что порок не развратил ее. Ее уверенная походка, гибкая талия, розовые открытые ноздри, большие глаза, слегка оттененные синевой, выдавали одну из тех пламенных натур, которые распространяют вокруг себя сладострастие.

К тому же как результат болезни или от природы, но в глазах этой женщины мелькали время от времени огоньки желаний, сулившие неземные радости тому, кого она полюбит. Правда, тем, кто любил Маргариту, не было счету, она же не любила никого.

Словом, в ней была видна непорочная девушка, которую ничтожный случай сделал куртизанкой, и куртизанка, которую ничтожный случай мог превратить в самую любящую, самую чистую женщину. У Маргариты, кроме того, было чувство гордости и независимости. Я ничего не говорил: казалось, центром души моей стало сердце, а сердце отражалось в глазах.

– Так, значит, это вы, – начала она вдруг, – приходили узнавать о моем здоровье, когда я была больна?

– Да.

– Знаете, вы поступили прекрасно. Чем я могу вас отблагодарить?

– Позвольте мне время от времени приходить к вам.

– Сколько угодно, от пяти до шести, от одиннадцати до двенадцати. Послушайте, Гастон, сыграйте мне «Приглашение к танцу».

– Зачем?

– Чтобы доставить мне удовольствие. К тому же я никак не могу сыграть его сама.

– В чем же трудность?

– В третьей части, пассаж с диезами.

Гастон поднялся, сел к пианино и начал играть эту чудесную вещь Вебера по нотам, которые лежали на пюпитре.

Маргарита, опершись одной рукой о пианино, напряженно следила глазами за каждой нотой и подпевала вполголоса, а когда Гастон подошел к указанному пассажи, она продолжала напевать, ударяя пальцами по крышке пианино:

– Ре, ми, ре, до, ре, фа, ми, ре – этого я никак не могу сыграть. Начните сначала.

Гастон начал сначала, потом Маргарита ему сказала:

– Теперь дайте и мне попробовать.

Она села на его место и сыграла в свою очередь, но ее непокорные пальцы все время ошибались в этом месте.

– Прямо непостижимо, – сказала она с ребяческой интонацией, – я никак не могу разучить этот пассаж! Вы не поверите, я сижу иногда до двух часов ночи над ним! А как вспомню, что этот несносный граф восхитительно играет его наизусть, так начинаю злиться на него, право.

Она опять начала сначала, и все с тем же результатом.

– Ну его к черту, вашего Вебера, музыку и пианино! – сказала она, забросив ноты на другой конец комнаты. – Ведь не могу же я брать восемь диезов подряд!

Она скрестила руки на груди, окинула нас взглядом и топнула ногой. Щеки ее покраснели, и легкий кашель вырвался из груди.

– Ну, ну, – сказала Прюданс, которая уже сняла шляпу и оправляла прическу перед зеркалом, – вы ещё рассердитесь, вам станет худо, пойдемте лучше ужинать. Я умираю от голода.

Маргарита опять позвонила, потом села к пианино и начала петь вполголоса какую-то шансонетку, аккомпанемент к которой ей давался без ошибок.

Гастон знал эту песенку, и их голоса почти составили дуэт.

– Не пойте эту гадость, – сказал я Маргарите просящим голосом.

– О, как вы стыдливы! – сказала она с улыбкой, протянув мне руку.

– Я не за себя прошу, за вас.

Маргарита сделала жест, который должен был означать: «О, я уже давно покончила со стыдливостью!»

В это время пришла Нанина.

– Ужин готов? – спросила Маргарита.

– Да, сейчас.

– Кстати, – обратилась ко мне Прюданс, – вы не видели квартиры, пойдемте я вам покажу.

Вы знаете, гостиная была очень красива. Маргарита проводила нас немного, потом, позвала Гастона и пошла с ним в столовую, чтобы посмотреть, готов ли ужин.

– Послушайте, – громко сказала Прюданс, посмотрев на этажерку и взяв там саксонскую статуэтку, – я не видела у вас этой фигурки!

– Какой?

– Маленького пастуха, который держит клетку с птицей.

– Возьмите, если она вам нравится.

– Ах, зачем?

– Я хотела его подарить горничной, мне он не нравится, но раз он вам нравится, возьмите.

Прюданс обрадовалась подарку и не обратила внимания на форму, в какой он был предложен. Она отложила статуэтку в сторону и повела меня в уборную, там она показала мне две одинаковые миниатюры и сказала:

– Вот граф Г. Он был страшно влюблен в Маргариту. Он ее оставил. Вы знаете его?

– Нет. А это кто? – спросил я, указав на вторую миниатюру.

– Это маленький виконт Л. Он должен был уехать...

– Почему?

– Потому, что был почти разорен. Как он любил Маргариту!

– И она его тоже сильно любила?

– Она странная девушка, с ней никогда не знаешь, что и подумать. Вечером в тот же день, как он уехал, она была, по обыкновению, в театре, а в час разлуки плакала.

В это время пришла Нанина и доложила, что ужин подан.

Когда мы вошли в столовую, Маргарита стояла у стены, а Гастон держал ее руки в своих и что-то тихо говорил ей.

– Вы с ума сошли, – ответила ему Маргарита. – Вы отлично знаете, что я не хочу вас. Нельзя только после двухлетнего знакомства с такой женщиной, как я, пожелать стать ее любовником. Мы отдаемся сейчас же или никогда. Ну, господа, к столу.

И, вырвавшись из рук Гастона, она усадила его по правую руку, меня по левую, потом сказала Нанине:

– Прежде чем сесть, скажи кухарке, чтобы она не открывала, если позвонят.

Это предупреждение было сделано в час ночи.

Мы много смеялись, пили и ели. Очень скоро веселье перешло всякие границы: время от времени раздавались словечки, которые в известных кругах общества считаются веселыми и которые всегда пачкают уста, их произносящие. Они вызывали бурю восторга со стороны Нанины, Прюданс и Маргариты. Гастон от души радовался, он был добрый малый, но ум его имел странное направление. Была минута, когда я хотел забыться, не думать о том, что происходит, и принять участие в общем веселье, которое, казалось, входило в меню ужина, но мало-помалу я как-то обособился, мой стакан оставался полным, и мне было грустно видеть, как это двадцатилетнее существо пьет, говорит языком носильщиков и смеется всем тем гадостям, которые тут произносятся.

Меж тем как это веселье, эта манера разговаривать и пить у других, казалось, происходили от распушенности, привычки и избытка сил, у Маргариты они производили впечатление потребности забыться, лихорадочного состояния, нервной возбудимости. При каждом бокале шампанского ее щеки покрывались нездоровым румянцем, и кашель, легкий в начале ужина, усилился в конце и заставлял ее закидывать голову на спинку стула и прижимать руки к груди всякий раз во время приступа. Мне было больно думать, как это хрупкое создание должно было страдать от постоянной невоздержанности. В конце концов произошло то, что я предвидел и чего так боялся. К концу ужина у Маргариты случился особенно сильный приступ кашля. Мне казалось, что грудь ее

раздирает изнутри. Бедная девушка побагровела, закрыла от боли глаза и поднесла к губам платок, который окрасился кровью. Тогда она встала и побежала в уборную.

– Что с Маргаритой? – спросил Гастон.

– Она слишком много смеялась, и теперь у нее пошла горлом кровь, – ответила Прюданс. – Но это пустяки, это бывает каждый день. Она сейчас вернется. Не нужно ей мешать, так ей лучше.

Я не мог этого вынести и, несмотря на все протесты Прюданс и Нанины, которые хотели меня вернуть, пошел к Маргарите.

Комната, в которой она уединилась, была освещена только свечой, стоявшей на столе. Она лежала на диване в небрежной позе, прижимая одну руку к груди, другую бессильно свесив. На столе стоял серебряный тазик, наполовину наполненный водой, которая была слегка окрашена кровью.

Маргарита лежала бледная, с полуоткрытым ртом и тяжело дышала. Временами из груди у нее вырывался долгий вздох, который как бы облегчал ей дыхание и давал покой на несколько секунд.

Я приблизился к ней, но она не обратила на это никакого внимания. Я сел и взял ее руку.

– Ах, это вы! – сказала она с улыбкой. Должно быть, у меня было очень расстроенное лицо, потому что она добавила: – Вам тоже плохо?

– Нет, но как вы себя чувствуете?

– Ничего. – И она вытерла платком слезы, которые выступили у нее от кашля. – Я к этому теперь привыкла.

– Вы убиваете себя, – сказал я ей взволнованно, – мне хотелось бы быть вашим другом и помешать вам так поступать.

– Я не понимаю, почему вы волнуетесь, – с горечью возразила она. – Посмотрите, ведь никто мной не интересуется; все они отлично знают, что ничем помочь нельзя.

Она встала, взяла свечу, поставила на камин и посмотрела в зеркало.

– Какая я бледная! – сказала она, оправляя платье и растрепавшуюся прическу. – Ну, да ладно, вернемся в столовую. Идемте!

Но я сидел и не трогался с места.

Она поняла, насколько взволновала меня эта сцена, подошла ко мне, протянула руку и сказала:

– Ну, пойдемте.

Я взял ее руку, поднес к губам и невольно уронил на нее две долго сдерживаемые слезы.

– Какой вы, однако, ребенок! – сказала она, садясь рядом со мной. – Вот вы плачете! Что с вами?

– Я, верно, кажусь вам несносным, но мне так больно все это видеть.

– Вы очень добрый! Но что мне делать? Я не могу заснуть, и мне приходится развлекаться. А потом, не все ли равно, одной кокоткой больше или меньше. Врачи говорят, что кровь, которую я отхаркиваю, идет из бронхов. Я делаю вид, что верю, больше я ничего ведь не могу для них сделать.

– Послушайте, Маргарита, – сказал я, не в силах больше сдерживаться, – я не знаю, какую роль вы будете играть в моей жизни, но одно я знаю твердо; в данный момент мне никто, даже моя сестра, так не близок, как вы. И это с тех пор, как я вас увидел. Прошу вас, ради Бога, не живите так, как вы жили до сих пор.

– Если я буду заботиться о себе, я умру. Меня поддерживает та лихорадочная жизнь, которую я веду. Кроме того, заботиться о себе хорошо светским женщинам, у которых есть семья и друзья, – а нас, как только мы перестаем служить тщеславию или удовольствию наших любовников, бросают, и долгие вечера сменяют долгие дни. Я хорошо это знаю, я два месяца пролежала в постели, и уже через три недели никто не приходил меня навещать.

– Я знаю, что я ничто для вас, – возразил я, – но, если вы только захотите, я буду о вас заботиться, как брат, я не покину вас и поставлю на ноги. Когда у вас будут силы, вы вернетесь к ва-

шему образу жизни, если захотите, но я уверен, вы предпочтете спокойное существование, которое вам даст больше счастья и сохранит красоту.

– Так вы думаете сегодня, потому что вино нагнало на вас тоску, но вашего терпения не хватит надолго.

– Позвольте вам напомнить, Маргарита, что вы были больны в продолжение двух месяцев и что в продолжение этих двух месяцев я приходил каждый день узнавать о вашем здоровье.

– Это верно, но почему вы не заходили ко мне?

– Потому, что я не знал вас тогда.

– Разве стесняются с такой женщиной, как я?

– С женщиной всегда нужно стесняться – таково мое убеждение.

– Итак, вы берете на себя заботу обо мне?

– Да.

– Вы будете проводить со мной целые дни?

– Да.

– И целые ночи?

– Все время, если я вам не надоем.

– Как вы это называете?

– Преданностью.

– И откуда берется такая преданность?

– Из непобедимой симпатии, которую я питаю к вам.

– Значит, вы влюблены в меня? Признайтесь в этом поскорее, это проще.

– Возможно, но сегодня я вам не могу этого сказать, когда-нибудь в другой раз.

– Лучше будет, если вы мне этого никогда не скажете.

– Почему?

– Потому, что в результате могут быть две вещи.

– Какие?

– Или я оттолкну вас, и тогда вы на меня рассердитесь, или я сойду с вами, и тогда у вас будет печальная любовница: женщина нервная, больная, грустная, а если веселая, то веселость ее хуже печали, женщина, харкающая кровью и тратящая сто тысяч франков в год. Это хорошо для богатого старика, как герцог, но очень скучно для молодого человека. Вот вам подтверждение: все молодые любовники, которые у меня были, очень скоро меня покинули.

Я ничего не отвечал: я слушал. Эта откровенность, очень похожая на исповедь, эта грустная жизнь, которую я угадывал под золотой дымкой, окутывавшей ее, и от которой бедная девушка убегала в распутство, пьянство и бессонные ночи, – все это производило на меня такое сильное впечатление, что я не находил слов.

– Однако, – продолжала Маргарита, – мы говорим глупости. Дайте мне руку, и пойдем в столовую. Никто не должен знать о причине нашей задержки.

– Идите, если вам хочется, но мне разрешите остаться.

– Почему?

– Потому что мне больно видеть ваше веселье.

– Ну, так я буду печальной.

– Послушайте, Маргарита, позвольте мне сказать то, что вам, наверное, не раз говорили, но то, что я хочу вам сказать, – это сушая правда, и никогда больше я вам этого не повторю...

– Ну!... – сказала она с улыбкой молодой матери, выслушивающей глупый лепет своего ребенка.

– С того момента, как я вас увидел, не знаю почему и зачем, но вы заняли место в моей жизни. Я изгонял ваш образ из своей памяти, но он снова и снова возвращался ко мне. Сегодня, когда я снова встретил вас после двух лет разлуки, я почувствовал к вам еще большее влечение, и, наконец, теперь, когда вы меня приняли, когда я с вами познакомился, когда я узнал вашу странную натуру, вы стали мне необходимы, и я сойду с ума не только если вы меня не полюбите, но и в том

случае, если вы мне не позволите вас любить.

– Несчастный, я вам повторю то, что говорила мадам Д. Значит, вы очень богаты! Вы, должно быть, не знаете, что я трачу шесть-семь тысяч франков в месяц и иначе не могу существовать, вы не знаете, должно быть, мой бедный друг, что я вас очень скоро разорю, ваша семья возьмет вас под опеку, чтобы не дать вам жить с такой особой, как я. Любите меня как друга, но не иначе. Приходите ко мне, мы будем смеяться, болтать, но не переоценивайте меня, право же, мне грош цена. У вас доброе сердце, у вас есть потребность любить, вы слишком молоды и слишком чувствительны, чтобы жить в нашем кругу. Возьмите замужнюю женщину. Вы видите, я не злой человек и говорю с вами вполне откровенно.

– Какого черта вы здесь пропади? – закричала Прюданс, которая незаметно вошла и стояла на пороге комнаты с растрепанной прической и в расстегнутом платье, что было, наверно, делом рук Гастона.

– Мы обсуждаем важное дело, – сказала Маргарита, – оставьте нас в покое, мы скоро вернемся.

– Хорошо, хорошо, разговаривайте, милые детки, – сказала Прюданс, закрывая за собой дверь и как бы подчеркивая этим значительность того, что она сказала.

– Итак, решено, – продолжала Маргарита, когда мы остались одни, – вы меня разлюбите.

– Я уеду.

– Неужели дело зашло так далеко?

Но мне было поздно отступать, к тому же эта женщина действовала на меня так, как никто до сих пор. Смесь веселости и печали, стыдливости и распутства, болезнь, которая должна была в ней развивать восприимчивость к впечатлениям и нервную возбудимость, – все мне говорило, что если я с первого раза не одержу верх над этой переменчивой и легкомысленной натурой, она будет потеряна для меня навсегда.

– Так, значит, вы говорили серьезно? – продолжала она.

– Вполне серьезно.

– Но почему вы раньше мне этого не говорили?

– Когда я мог вам сказать?

– На следующий день после того, как вы были мне представлены в Опере.

– Вы бы меня очень плохо приняли, если бы я пришел к вам.

– Почему?

– Потому, что я глупо вел себя накануне.

– Да, это верно. Но ведь вы меня уже и тогда любили?

– Да.

– Но это вам не помешало пойти домой и проспять всю ночь после спектакля. Знаем мы такую любовь.

– Ну, так вы ошибаетесь. Знаете, что я делал в тот вечер?

– Нет.

– Я ждал вас у дверей кафе. Я следил за экипажем, в котором вы ехали с друзьями, и, когда увидел, что вы одна вышли из экипажа и поднялись к себе, был совершенно счастлив.

Маргарита начала смеяться.

– Чему вы смеетесь?

– Ничему.

– Умоляю вас, скажите, иначе я подумаю, что вы опять насмехаетесь надо мной.

– Вы не рассердитесь?

– Какое я имею право сердиться?

– Ну, так знайте, была основательная причина, почему я поднялась к себе одна.

– Какая?

– Меня ждали здесь.

Если бы она ударила меня ножом, мне не было бы больнее. Я встал и протянул руку:

– Прощайте.

– Я прекрасно знала, что вы рассердитесь, – сказала она. – Мужчины непременно хотят знать то, что им может причинить боль.

– Уверяю вас, – возразил я холодным тоном, как бы желая доказать, что я навсегда исцелился от своей страсти, – уверяю вас, что я не сержусь. Вполне естественно, что я уйду – ведь уже три часа ночи.

– Может быть, вас тоже кто-нибудь ждет дома?

– Нет, но мне пора.

– В таком случае прощайте.

– Вы меня прогоняете?

– Нисколько!

– Зачем вы меня огорчаете?

– Чем я вас огорчила?

– Вы мне сказали, что кто-то вас ждал.

– Я не могла не засмеяться при мысли, что вы были так счастливы тем, что я вернулась одна.

– Мы часто радуемся какому-нибудь пустяку, и жестоко разрушать эту радость.

– Но за кого вы меня принимаете? Я не целомудренная девушка и не герцогиня. Я знаю вас только один день и не обязана вам отчитываться в своих поступках. Допустим, что я буду когда-нибудь вашей любовницей, но тогда вам необходимо знать, что до вас у меня были другие любовники. Если вы мне устраиваете уже теперь сцены ревности, то что же будет после, если вообще это «после» настанет. Я первый раз вижу такого человека, как вы.

– Никогда никто не любил вас так, как я.

– Будьте искренни, вы действительно меня очень любите?

– Мне кажется, сильнее любить нельзя.

– И это с...

– С того дня, как я увидел вас выходящей из экипажа около магазина: это было три года назад.

– Знаете, это прекрасно! Но что же я должна сделать, чтобы вознаградить эту великую любовь?

– Любите меня хоть немного, – сказал я, и сердце у меня забилося, мне стало трудно говорить. Мне казалось, несмотря на полунасмешливые улыбки, которыми сопровождалась все ее слова, что Маргарита начинала разделять мое волнение и что я приближался к желанному моменту.

– Ну, а герцог?

– Какой герцог?

– Мой старый ревнивец.

– Он ничего не будет знать.

– А если он узнает?

– Он вас простит.

– Нет, он меня бросит. Что я тогда буду делать?

– Вы же идете на этот риск для других.

– Откуда вы это знаете?

– Вы ведь отдали приказание, чтобы никого не впускали сегодня ночью.

– Верно, но это серьезный друг.

– К которому вы, по-видимому, не особенно привязаны, раз отказываетесь принять его в такой час.

– Вы не можете меня в этом упрекать, я отдала такое приказание, чтобы принять вас и вашего друга.

Я приблизился к Маргарите и обнял ее.

– Если бы вы знали, как я вас люблю! – сказал я тихо.

– Правда?

– Клянусь вам.

– Если вы мне обещаете исполнять беспрекословно все мои желания, не спрашивая меня ни о чем, не делая мне никаких замечаний, может быть, я буду вас немного любить.

– Все, что хотите.

– Но предупреждаю вас: я хочу быть свободной в своих действиях и никогда и ни в чем не буду отчитываться перед вами. Я уже давно ищу любовника молодого, покорного, беззаветно влюбленного, не требующего ничего, кроме моей любви. Я никогда не могла найти такого. Мужчины, вместо того чтобы довольствоваться тем, что им дают и на что они едва ли могли надеяться, требуют от своей любовницы отчета в настоящем, прошлом и даже в будущем. Чем больше они привыкают к ней, тем больше хотят властвовать над ней, и чем больше им дают, тем шире становятся их требования. Я решаюсь взять нового любовника при условии, чтобы он обладал тремя редкими качествами: доверчивостью, покорностью и скромностью.

– Я буду всем, чем вы захотите.

– Увидим.

– А когда мы увидим?

– Позднее.

– Почему?

– Потому что, – сказала Маргарита, выскользнув из моих объятий. Выбрав в большом букете красных камелий, принесенных утром, один цветок, она приколотла его к моему сюртуку и продолжала: – Потому что не всегда можно договор исполнять в тот самый день, как он подписан. Это вполне понятно.

– А когда мы опять увидимся? – спросил я, снова сжимая ее в своих объятиях.

– Когда камелия станет другого цвета.

– А когда она станет другого цвета?

– Завтра, от одиннадцати до двенадцати ночи. Вы довольны?

– Вы еще спрашиваете?

– Ни слова обо всем этом ни вашему другу, ни Прюданс, ни кому бы то ни было.

– Обещаю вам.

– Теперь поцелуйте меня, и вернемся в столовую.

Маргарита подставила мне губы, оправила волосы, и мы вышли из комнаты: она – напевая, я – вне себя от счастья.

В гостиной она мне сказала тихо:

– Вам может показаться странным, что я так скоро согласилась. Знаете почему?... Потому, – продолжала Маргарита, взяв мою руку и прижав ее к сердцу, сильные и частые удары которого я чувствовал, – что мне осталось жить меньше, чем другим, и я решила жить быстрее.

– Умоляю вас, не говорите так.

– Утешьтесь, – продолжала она, смеясь. – Сколько бы я ни жила, я проживу дольше, чем вы меня будете любить.

И она, напевая, вошла в столовую.

– Где Нанина? – спросила Маргарита, увидев Гастона и Прюданс одних.

– Она спит у вас в комнате в ожидании вас, – ответила Прюданс.

– Несчастная! Я ее убиваю! Ну, господа, расходитесь, уже пора.

Через десять минут Гастон и я вышли. Маргарита пожала мне на прощание руку и осталась с Прюданс.

– Ну, – спросил Гастон, когда мы вышли, – что вы скажете о Маргарите?

– Это ангел, и я от нее без ума.

– Я так и думал. Вы сказали ей это?

– Да.

– И она вам обещала что-нибудь?

– Нет.

– Она не похожа на Прюданс.
– Прюданс вам обещала?
– Нет, она лучше сделала, мой друг! Трудно поверить, но эта толстая Дювернуа хорошо сохранилась!

XI

На этом месте своего рассказа Арман остановился.

– Пожалуйста, закройте окно! – сказал он. – Мне становится холодно. Я пока лягу.

Я закрыл окно. Арман, все еще слабый, разделся и лег в постель, его голова несколько минут покоилась на подушке, как у человека, уставшего от продолжительной прогулки или удрученного тяжелыми воспоминаниями.

– Вы слишком много говорите, – сказал я, – может быть, мне лучше уйти и дать вам покой? Вы расскажете в другой раз остальное.

– Вам надоело слушать?

– Напротив.

– Тогда я буду продолжать. Если я останусь один, я не смогу заснуть. Когда я вернулся домой, – продолжал он, не задумываясь, настолько все эти детали были еще живы в его памяти, – я не лег спать, а начал вспоминать все события этого дня. Встреча, знакомство, обещание Маргариты – все произошло так быстро, так неожиданно, что временами мне казалось, будто все это сон, хотя такие девушки, как Маргарита, нередко тотчас соглашаются на предложение мужчины.

Я мог сколько угодно приводить себе этот довод, но первое впечатление, произведенное на меня моей будущей любовницей, было так сильно, что оно брало верх. Я никак да мог в ней видеть такую же содержанку, как и все прочие, и с тщеславием, свойственным всем мужчинам, был склонен думать, что она вполне разделяла мое чувство к ней.

Между тем мне были известны совершенно противоположные примеры, и я не раз слышал, что любовь Маргариты была товаром, более или менее дешевым в зависимости от сезона.

Но как же примирить, с другой стороны, эту репутацию с упорными отказами молодому графу, которого мы видели у нее? Вы скажете, что он ей не нравился, что ее великолепно содержал герцог и что в любовники она брала, конечно, человека, который ей нравился. Но почему она не хотела в таком случае Гастона, милого, умного, богатого, и, казалось, предпочла меня, хотя и нашла меня очень смешным? Правда, бывают случаи, когда минута делает больше, нежели целый год ухаживаний.

Из тех, кто ужинал, я один побеспокоился ее отсутствием. Я пошел за ней, был настолько взволнован, что не мог этого скрыть, и заплакал, целуя ее руку. Ежедневные посещения в продолжение двух месяцев ее болезни и моя растроганность, видимо, показали ей меня в несколько ином свете. Весьма возможно, что для чувства, так сильно себя проявившего, она решила сделать то, что делала много раз и что, вообще говоря, не было уже для нее особенно трудным.

Все эти рассуждения, как видите, были весьма правдоподобны, но какова бы ни была причина, побудившая ее согласиться, одно было вполне достоверно: она согласилась.

Я был влюблен в Маргариту, должен был скоро ею обладать и не мог больше ничего от нее требовать. Но, повторяю вам, несмотря на то, что это была кокетка, любовь ее представлялась всегда такой недостижимой, может быть из желания опозтизировать ее, что чем ближе был момент, когда отпадут все сомнения, тем больше я сомневался.

Всю ночь я не мог сомкнуть глаз.

Я не узнавал сам себя. Я сходил с ума. То мне казалось, что я недостаточно красив, богат, элегантен, чтобы обладать такой женщиной, то я страшно гордился при мысли, что буду ею обладать, потом начинал бояться, что у Маргариты это каприз на несколько дней, страшился быстрого разрыва и подумывал, не лучше ли совсем не пойти к ней вечером и уехать, написав ей о своих опасениях. Но тут же переходил к безграничным надеждам, к беспредельному доверию. Я строил самые невероятные планы на будущее. Решал, что эта девушка будет мне обязана своим физиче-

ским и нравственным возрождением, что я проведу всю свою жизнь с ней и что ее любовь сделает меня более счастливым, чем любовь всякой неиспорченной девушки.

Впрочем, я не могу вам передать всех мыслей, которые бродили у меня в голове, пока я не заснул уже под утро.

Когда я проснулся, было два часа. Погода была прекрасная. Не могу припомнить, чтобы когда-нибудь жизнь казалась мне такой прекрасной и такой полной. Недавние мечты ожили в памяти, безоблачные, достижимые, сулившие только радость. Я быстро оделся. Я был счастлив и жаждал совершать добрые дела. Сердце радостно билось у меня в груди. Приятное возбуждение не покидало меня. У меня уже не было тех тревог, которые осаждали меня перед тем, как я заснул. Я думал только о том часе, когда снова увижусь с Маргаритой.

Я не мог оставаться у себя. Комната казалась мне слишком маленькой для моего счастья. Мне нужна была вся природа, чтобы слиться с ней.

Я вышел из дому и направился на улицу д'Антэн – коляска Маргариты ждала ее у дверей. Я пошел по направлению к Елисейским полям. Я любил всех, кто встречался мне по дороге. Каким добрым делает человека любовь!

Я прохаживался уже целый час от лошадей Марли до круглой площадки и от круглой площадки до лошадей Марли, когда увидел вдалеке экипаж Маргариты: я не узнал его, я почувствовал.

Экипаж остановился у поворота, и к нему подошел высокий молодой человек, отделившись от группы людей, с которыми он разговаривал.

Они поговорили несколько минут, молодой человек вернулся к друзьям, лошади тронулись. Приблизившись к этой группе, я узнал в том, кто разговаривал с Маргаритой, графа Г., портрет которого видел и о котором Прюданс мне говорила, что ему Маргарита обязана своим положением.

Это его она не велела вчера пускать. Мне казалось, что она остановила свой экипаж, чтобы объяснить ему причину, и я надеялся, что в то же время она нашла какой-нибудь новый предлог, чтобы не принять его и на следующую ночь.

Не помню, как я провел остальной день, где я гулял, с кем разговаривал, помню только, что я вернулся домой, провел, как мне казалось, три часа за своим туалетом и сто раз смотрел то на стенные, то на карманные часы, которые, к несчастью, показывали совершенно одинаковое время.

Когда пробило половину одиннадцатого, я решил, что пора идти.

Я жил в это время на улице Прованс. Я пошел по улице Мон Блан, пересек бульвар, пошел по улицам Людовика Великого, Порт-Магон, д'Антэн. Окна Маргариты были освещены. Я позвонил и спросил у швейцара, дома ли мадемуазель Готье. Он ответил, что она никогда не возвращается раньше одиннадцати – четверти двенадцатого.

Я посмотрел на часы. Мне казалось, что я шел медленно, но все мое путешествие продолжалось всего пять минут. Тогда я начал прогуливаться по пустынной улице, где не было лавок.

Через полчаса Маргарита приехала. Она вышла из коляски и осмотрелась кругом, как бы ища кого-то.

Коляска медленно отъехала, так как конюшни были в другом месте.

Когда Маргарита позвонила, я подошел к ней и сказал:

– Здравствуйте.

– Ах это вы? – сказала она не особенно довольным тоном.

– Ведь вы позволили мне прийти к вам в одиннадцать часов?

– Да, верно, но я забыла.

Эти слова разрушали все мои утренние размышления, все мои сегодняшние надежды. Однако я уже немного освоился с тем, что можно от нее ждать, и не ушел, как, наверно, поступил бы раньше.

Мы вошли.

Нанина поджидала нас, стоя в дверях.

– Прюданс вернулась? – спросила Маргарита.

– Нет еще.

– Пойди скажи, чтобы она пришла, как только вернется. Сначала потуши лампу в гостиной и, если кто-нибудь придет, скажи, что я не вернулась и не вернусь.

Чувствовалось, что она чем-то озабочена и даже, может быть, ждет какого-нибудь неприятного посетителя. Я не знал, как себя держать и что говорить. Маргарита направилась в спальню, я не трогался с места.

– Идемте, – сказала она.

Она сняла шляпу, бархатное мантио и бросила их на постель, потом опустилась в большое кресло около камина, который топили до начала лета, и сказала, играя цепочкой своих часов:

– Ну, что расскажете новенького?

– Пожалуй, только то, что мне не следовало приходить сегодня вечером.

– Почему?

– Потому, что вы, по-видимому, недовольны, что я пришел.

– Нет, это не так. Мне было нехорошо весь день, я не спала ночь, и у меня теперь ужасная мигрень.

– Хотите, я уйду, и вы тогда ляжете в постель?

– О, вы можете остаться: если я захочу лечь, я лягу при вас.

В это время позвонили.

– Кто еще там? – сказала она с раздражением.

Через несколько минут опять раздался звонок.

– Некому открыть, нужно мне пойти самой. – И она встала, сказав мне: – Подождите здесь.

Она прошла в переднюю, и я слышал, как открылась входная дверь. Я прислушался.

Тот, кому она открыла, остановился в столовой. Я узнал голос молодого графа N.

– Как вы себя чувствуете сегодня? – спросил он.

– Плохо, – сухо ответила Маргарита.

– Я вам помешал?

– Может быть.

– Как вы меня принимаете? Что я вам сделал дурного, милая Маргарита?

– Мой милый друг, вы мне ничего не сделали дурного. Я больна, мне нужно лечь в постель, и вы доставите мне большое удовольствие, если уйдете. Мне это надоело: не успею я вернуться домой, как через пять минут вы появляетесь. Что вам нужно? Чтобы я стала вашей любовницей? Но ведь я вам уже сотни раз говорила, что я этого не хочу, что вы меня выводите из себя. Обратитесь, наконец, в другое место. Сегодня повторяю вам это в последний раз: я вполне определенно не хочу вас, прощайте. Вот Нанина вернулась, она вам посветит. Прощайте.

И, не прибавив больше ни слова, не выслушав того, что бормотал молодой человек, Маргарита вернулась в комнату и сильно хлопнула дверью. Вскоре вошла Нанина.

– Послушай, – сказала ей Маргарита, – всегда отвечай этому несносному человеку, что меня нет дома или что я не хочу его принять. Я устала в конце концов постоянно видеть людей, которые хотят от меня одного и того же. Они считают, что раз они платят мне, то они со мной квиты. Если бы те, кто впервые приступает к нашему постыдному ремеслу, знали все его стороны, они скорее пошли бы в горничные. Но нет, нам хочется иметь платья, экипажи, бриллианты, мы верим тому, что нам говорят, потому что проститутки тоже умеют верить, но от постоянной лжи наша душа, наше тело, наша красота изнашиваются быстрее, чем у других женщин. Нас боятся, как диких зверей, нас презирают, как низшую касту, нас окружают люди, которые берут от нас всегда больше, чем дают, и в конце концов мы подышаем, как собаки, погубив и себя и других.

– Успокойтесь, барыня, – сказала Нанина, – вы расстроены сегодня.

– Мне тяжело в платье, – сказала Маргарита, отстегивая застёжки у лифа, – дай мне пеньюар. А где Прюданс?

– Она еще не вернулась, но, как только вернется, ее пришлют сюда.

– Вот тоже человек, – продолжала Маргарита, снимая платье и надевая белый пеньюар, – когда я ей нужна, она всегда меня найдет, но я никогда не могу допроситься от нее услуги. Она зна-

ет, что я жду сегодня ответа, что он мне нужен, что я беспокоюсь, и уверена, что она совсем об этом забыла.

– Может быть, ее задержали?

– Вели нам подать пуншу.

– Вам опять будет худо, – сказала Нанина.

– Тем лучше. Принеси и фрукты, пирог или кусочек цыпленка, и поскорее, я голодна.

Я думаю, вам не нужно говорить, какое впечатление произвела на меня эта сцена, вы сами можете себе это представить.

– Вы поужинаете со мной, – сказала она мне, – а пока возьмите книгу, я пойду переоденусь.

Она зажгла свечи в канделябре, открыла дверь около кровати и исчезла.

Я задумался над жизнью этой девушки, и моя любовь была преисполнена жалостью.

Задумавшись, я расхаживал большими шагами по комнате, как вдруг появилась Прюданс.

– Как, вы здесь? – сказала она. – Где Маргарита?

– Переодевается.

– Я подожду ее. Знаете, вы ей очень понравились.

– Нет, не знаю.

– Она вам этого не говорила?

– Нет, не говорила.

– Как вы сюда попали?

– Пришел с визитом.

– Ночью?

– Почему же нет?

– Хвастун.

– Она меня приняла очень нелюбезно.

– Она примет вас любезнее.

– Вы думаете?

– Я принесла ей приятные известия.

– Недурно. Так она говорила с вами обо мне?

– Вчера вечером или, вернее, сегодня ночью, когда вы ушли с другом... Между прочим, как поживает ваш друг? Гастон Р., так ведь его зовут?

– Да, – сказал я, не удержавшись от улыбки, вспомнив признание Гастона и сопоставив это с тем, что Прюданс плохо знала его имя.

– Он очень мил, чем он занимается?

– У него двадцать пять тысяч годового дохода.

– Да? Правда? Вернемся к вам. Маргарита меня много о вас расспрашивала: она интересовалась, кто вы, чем занимаетесь, какие у вас были любовницы, – словом, все, что можно спросить о человеке вашего возраста. Я рассказала ей все, что знала, добавив к тому же, что вы прекрасный молодой человек.

– Большое спасибо, а теперь скажите, какое она вам дала поручение вчера?

– Никакого. Это был просто предлог прогнать графа, но она мне дала поручение сегодня, и сейчас я принесла ей ответ.

В это время Маргарита вышла из уборной в кокетливом ночном чепчике, украшенном пучками желтых лент, так называемыми шу. Она была восхитительно хороша в этом наряде. На босых ногах у нее были атласные туфли, и она заканчивала чистить ногти.

– Ну, – спросила она, увидев Прюданс, – видели вы герцога?

– Конечно!

– Что он вам сказал?

– Он мне дал.

– Сколько?

– Шесть тысяч.

– Они при вас?

– Да.

– Он был недоволен?

– Нет.

– Несчастный!

Трудно передать тон, которым были произнесены последние слова. Маргарита взяла шесть тысячефранковых билетов.

– Пора было. Прюданс, вам нужны деньги?

– Вы ведь знаете, дорогая, через два дня пятнадцатое число, вы мне окажете большую услугу, если одолжите триста – четыреста франков.

– Пришлите завтра утром, теперь уже поздно менять.

– Не забудьте.

– Не беспокойтесь. Вы поужинаете с нами?

– Нет, Шарль меня ждет дома.

– Вы все еще без ума от него?

– Да, без ума! До завтра. Прощайте, Арман.

Мадам Дювернуа вышла.

Маргарита открыла столик и бросила бумажки в ящик.

– Вы позволите мне лечь? – сказала она с улыбкой и направилась к постели.

– Я не только вам позволяю, я прошу вас.

Она сбросила с постели покрывало и легла.

– А теперь садитесь около меня, и давайте болтать.

Прюданс была права: ответ, который она принесла Маргарите, ее обрадовал.

– Вы мне прощаете мое дурное настроение? – спросила она, взяв меня за руку.

– Я всегда готов все вам прощать.

– Вы меня любите?

– Безумно.

– Несмотря на мой дурной характер?

– Несмотря ни на что.

– Вы мне клянетесь в этом?

– Да, – сказал я тихо.

Вошла Нанина, принесла две тарелки, холодного цыпленка, бутылку бордо, землянику и два прибора.

– Я вам не приготовила пунша, – сказала Нанина, – бордо для вас лучше. Не правда ли, сударь?

– Конечно, – ответил я, все еще растроганный последними словами Маргариты и устремив на нее пламенный взор.

– Хорошо, – сказала она, – поставь все на маленький столик и придвинь его к кровати. Мы сами справимся. Вот уж три ночи, как ты на ногах, наверно, хочешь спать. Иди ложись, ты мне больше не нужна.

– Запереть дверь на два оборота?

– Конечно, и скажи непременно, чтобы завтра никого не пускали раньше полудня.

ХII

В пять часов утра Маргарита сказала мне:

– Прости, что я тебя гоню, но это необходимо! Герцог приходит каждое утро. Ему скажут, что я сплю, и он, наверно, будет ждать, пока я проснусь.

Я обнял обеими руками Маргариту и поцеловал ее в последний раз.

– Когда я тебя увижу?

– Послушай, – перебила она, – возьми маленький золотой ключик, который лежит на камине, открой эту дверь, положи ключик на место и уходи. Днем ты получишь письмо с моими приказами, ведь ты помнишь, что обещал мне слепо повиноваться?

– Да, а что, если я попрошу об одной вещи?

– О чем?

– Чтобы ты оставила у меня этот ключик.

– Я никому не разрешала то, о чем ты просишь.

– Ну, так разреши это мне. Клянусь тебе, я люблю тебя не так, как другие тебя любили.

– Ну хорошо, пускай он останется у тебя, но предупреждаю, что от меня зависит, будет ли этот ключ тебе полезен. У двери есть засовы.

– Злюка!

– Я велю их снять.

– Так значит, ты меня немного любишь?

– Не знаю, как это случилось, но мне кажется, что да. Теперь уходи, я совсем сплю.

Мы еще несколько секунд обнимали друг друга, а потом я ушел.

Улицы были безлюдны, громадный город еще спал, приятная прохлада царила на улицах, которые через несколько часов наполнятся людским шумом.

Мне казалось, что этот спящий город принадлежит мне, я искал в своей памяти имена тех, счастьем которых я раньше завидовал, и не мог вспомнить ни одного, кого бы считал теперь счастливее меня.

Быть любимым чистой молодой девушкой, открыть ей впервые чудесную тайну любви, конечно, большое блаженство, но не слишком ли это просто? Овладеть сердцем, которое не привыкло к атакам – это все равно что занять необороняемый город, город без гарнизона. Воспитание, сознание долга и семья – очень верные стражи, но нет таких бдительных часовых, которых не могла бы обмануть девушка шестнадцати лет, которой сама природа с помощью любимого дает первые бесценные советы, и чем эти советы чище, тем они верней.

Чем больше молодая девушка верит в добро, тем легче она отдается, если и не любовнику, то любви, если у нее нет недоверия, она безоружна, и заставить ее полюбить – это такая победа, которую может одержать всякий молодой человек в двадцать пять лет. И это так верно, что молодых девушек окружают надзором и затворами! Но у монастырей нет таких высоких стен, у матерей – таких крепких замков, у религии – таких строгих предписаний, которые смогли бы запереть этих прелестных птичек в клетке. Притом в такой, куда не бросишь даже цветов. Они должны мечтать о наслаждениях, которые от них скрывают, должны верить в свою прелесть, должны послушаться первого голоса, который через решетки будет им рассказывать о таинственном, и благословить ту руку, которая впервые приподнимает уголок завесы.

Но быть искренне любимым куртизанкой – это более трудная победа. У них тело иссушило душу, похоть сожгла сердце, разврат сделал чувства непроницаемыми. Они уже давно знают те слова, которые им говорят, им знакомы те средства, которые употребляют. Даже любовь, которую они внушают, они раньше продавали. Они любят из обязанности, а не по увлечению. Их лучше охраняют расчеты, чем какую-нибудь девственницу ее мать и монастырь, поэтому-то они и придумали слово «каприз», чтобы определить любовь бескорыстную, которую они себе позволяют время от времени для отдыха или для утешения. Они похожи на ростовщиков, которые пускают по миру тысячи людей и в искупление дают какому-нибудь бедняку, умирающему с голоду, двадцать франков, не требуя ни процентов, ни возврата. К тому же если куртизанке и случится полюбить, то эта любовь, которая вначале является как бы прощением, почти всегда становится для нее наказанием. Нет прощения без искупления. Когда подобная женщина с порочным прошлым испытывает настоящую любовь, искреннюю, сильную, на которую она никогда не считала себя способной, когда она призналась в этой любви, любимый человек всецело подчиняет ее себе! Он чувствует себя сильным благодаря своему жестокому праву сказать ей: ты делаешь для любви то же самое, что ты делала для денег.

Они не знают, какие им дать доказательства. В одной басне рассказывается, что какой-то

мальчик долгое время забавлялся тем, что кричал в поле «Помогите!», чтобы пугать крестьян, и однажды его съел медведь, так как те, кого он так часто обманывал, не поверили на этот раз его правдивым крикам. Так же бывает с этими несчастными девушками, когда они серьезно любят. Они столько раз лгали, что им не хотят больше верить, и их губит их любовь и раскаяние. Отсюда та великая преданность, то строгое затворничество, примеры которого они являют.

Но когда человек, внушивший эту безмерную любовь, обладает настолько великодушным сердцем, чтобы принять ее и не вспоминать о прошлом, когда он отдается ей весь целиком, – словом, когда он любит так же, как его любят, этот человек переживает в таком случае все земные чувства, и после этой любви его сердце будет закрыто для всякой другой.

У меня не было этих мыслей в то утро, когда я возвращался домой. Я мог только смутно почувствовать то, что со мной случится, и, несмотря на мою любовь к Маргарите, не делал подобных выводов – теперь я их делаю. Теперь, когда все безвозвратно погибло, они сами собой напрашиваются как итог прошлого.

Но вернемся к первому дню этой связи. Когда я возвратился, я был безумно счастлив. Вспоминая, что исчезли преграды, воздвигнутые моим воображением между мной и Маргаритой, что я обладал ею, что я занимал место в ее мыслях, что у меня в кармане был ключик от ее двери и право им воспользоваться, я был доволен жизнью, горд собой.

Однажды молодой человек проходит по улице, встречает женщину, смотрит на нее, обращается, идет дальше. Он не знает этой женщины, у нее есть свои радости, горести, любовь, в которых он не принимает никакого участия. Он не существует для нее, и, может быть, если бы он с ней заговорил, она бы посмеялась над ним так же, как Маргарита посмеялась надо мной. Проходят недели, месяцы, годы, и вдруг неожиданно каждый на предназначенном им особом пути по странной логике событий сталкивается лицом к лицу с другим. Эта женщина становится любовницей этого молодого человека и любит его. Как? Почему? Их раздельные жизни сливаются. Едва только возникла их близость, как им уже кажется, что она существовала всегда, и все прошлое стирается из памяти обоих любовников. Мы должны признаться, что это странно.

Что касается меня, то я никак не мог представить, как жил раньше, до вчерашнего вечера. Необыкновенная радость наполняла меня при воспоминании о словах, звучавших в эту первую ночь. Или Маргарита привыкла обманывать, или она питала ко мне неожиданно вспыхнувшую страсть, которая открывается с первым поцелуем и умирает иногда так же необъяснимо.

Чем больше я об этом думал, тем чаще себя уверял, что Маргарита не имела никаких оснований притворяться. Я говорил себе, что у женщин есть два типа любви, которые могут дополнять друг друга: любовь душой и любовь телом. Часто женщина заводит любовника, повинаясь только своей чувственности, но неожиданно познает тайну духовной любви и с этого момента живет только ею; часто молодая девушка ищет в браке слияния двух чистых привязанностей и неожиданно постигает тайну физической любви, этого самого сильного завершения светлых душевных переживаний.

С этими мыслями я заснул. Меня разбудило письмо Маргариты:

«Вот мои приказания: сегодня вечером в „Водевилье“. Приходите во время третьего акта.

М. Г.».

Я положил записку в ящик, мне хотелось иметь под рукой доказательство того, что со мной случилось. Это на тот случай, если настанут минуты сомнения.

Она меня не звала днем, и я не решался прийти без ее позволения, но у меня было такое сильное желание увидеть ее еще до вечера, что я пошел на Елисейские поля, где накануне ее видел. Она не выезжала.

В семь часов я был в «Водевилье». Ни разу еще я не приходил в театр так рано.

Ложи заполнялись одна за другой. Оставалась пустой лишь одна ложа бенуара.

В начале третьего акта я услышал, как открылась дверь ложи, с которой я все время не спус-

кал глаз, и появилась Маргарита. Она сейчас же прошла вперед, посмотрела в партер, увидела меня и поблагодарила взглядом.

В этот вечер она была необыкновенно хороша.

Был ли я причиной этого? Любила ли она меня настолько, чтобы думать, что чем красивее она будет, тем сильнее я буду ее любить? Я еще не знал этого, но если так, то она добилась своего: когда она появилась, все зрители начали перешептываться, и даже актер, бывший на сцене, обратил свой взгляд на ту, чье появление привлекло внимание всей залы.

А у меня был ключ от квартиры этой женщины, и через три или четыре часа она снова должна была быть моей.

Свет осуждает тех, кто разоряет себя ради актрис и кокотов, а меня удивляет, что они не делают безумств в двадцать раз больше.

Нужно было пожить этой жизнью так, как я, чтобы знать, как они заставляют любовника любить их, — у нас нет другого выражения, — удовлетворяя то тем, то другим его тщеславие.

Прюданс тоже вошла в ложу, а в глубине сел граф Г. При виде его холодок пробежал у меня в сердце. Наверное, Маргарита заметила впечатление, произведенное на меня появлением этого человека, потому что она снова улыбнулась мне и, повернувшись спиной к графу, начала внимательно следить за пьесой. В третьем антракте она сказала графу несколько слов, он вышел из ложи, и Маргарита сделала мне знак, чтобы я зашел.

— Здравствуйте, — сказала она, когда я вошел, и протянула мне руку.

— Здравствуйте, — ответил я, обращаясь к Маргарите и Прюданс.

— Садитесь.

— Но я занимаю чужое место. Граф Г. не вернется больше?

— Нет, он вернется, я его послала за конфетами, чтобы мы могли поболтать немного одни.

Мадам Дювернуа посвящена в нашу тайну.

— Будьте спокойны, голубчики, я ничего не скажу.

— Что с вами сегодня? — спросила Маргарита, встав и проходя в глубину ложи, чтобы поцеловать меня.

— Мне немного нездоровится.

— Нужно лечь в постель, — сказала она с ироническим выражением, которое так шло ее умненькому, лукавому личику.

— Где?

— Дома.

— Вы отлично знаете, что я там не засну.

— Но нельзя же строить такую кислую физиономию только потому, что вы увидели мужчину у меня в ложе.

— Причина не в этом.

— Нет, в этом, я знаю, и вы не правы. Не будем больше. Вы придете после спектакля к Прюданс и будете там ждать, пока я вас позову. Поняли?

— Да.

Мог ли я послушаться?

— Вы меня еще любите?

— Вы спрашиваете?

— Вы думали обо мне?

— Весь день.

— Знаете, я, право, боюсь влюбиться в вас. Спросите Прюданс.

— Ах, — ответила та, — это несносно.

— Теперь возвращайтесь на место, граф сейчас вернется, и не нужно, чтобы он вас встретил здесь.

— Почему?

— Потому, что вы его не любите.

– Не люблю, но почему вы заранее мне не сказали, что хотите пойти в «Водевиль» сегодня вечером? Я так же, как и он, мог бы абонировать для вас ложу.

– К несчастью, он сделал это без всякой просьбы с моей стороны и предложил меня сопровождать. Вы отлично знаете, я не могла отказаться. Все, что я могла сделать, – это написать вам, куда я иду, чтобы вы могли меня видеть, да и мне самой хотелось вас поскорее увидеть. Но если такова ваша благодарность, это послужит мне уроком.

– Виноват, простите меня.

– В добрый час, возвращайтесь пай-мальчиком на свое место и постарайтесь больше не ревновать.

Она снова поцеловала меня, и я ушел.

В коридоре я встретил графа, который возвращался.

Я вернулся на свое место.

В конце концов присутствие графа Г. в ложе Маргариты было вполне естественно. Он был ее любовником, он принес ей билет, он сопровождал ее на спектакль, и с того момента, как Маргарита стала моей любовницей, я должен был примириться со всеми ее привычками. Но все-таки я чувствовал себя весь вечер несчастным и, опечаленный, ушел после того, как Прюданс, Маргарита и граф сели в коляску, ожидавшую их у дверей.

Через четверть часа я был уже у Прюданс. Она только что вернулась.

XIII

– Вы пришли почти в одно время с нами, – сказала Прюданс.

– Да, – ответил я машинально. – Где Маргарита?

– У себя.

– Одна?

– Нет, с графом Г.

Я расхаживал большими шагами по гостиной.

– Что с вами?

– Неужели, по-вашему, мне приятно ждать здесь, пока граф Г. уйдет?

– Вы тоже безрассудны. Поймите же, ведь не может Маргарита выставить графа за дверь. Граф Г. долго жил с ней, он всегда ей давал много денег и теперь еще дает. Маргарита тратит в год больше ста тысяч франков, у нее много долгов. Герцог ей охотно дает столько, сколько она просит, но она не решается всегда у него просить. Ей нельзя ссориться с графом, который ей дает по крайней мере тысяч двенадцать в год. Маргарита вас очень любит, мой друг, но в ваших и в ее интересах не придавать вашей связи слишком серьезного характера. Вы не можете вашими семью или восемью тысячами франков поддержать роскошь этой девушки, их не хватит даже на содержание ее выезда. Берите Маргариту такой, какая она есть, будьте ее любовником один-два месяца, преподносите ей букеты, конфеты, но не берите, больше ничего в голову и не устраивайте ей смешных сцен ревности. Вы отлично знаете, с кем имеете дело. Маргарита – не ходячая добродетель. Вы ей нравитесь, вы ее любите и не думайте об остальном. Вы очень милы с вашей чувствительностью! У вас самая прелестная любовница в Париже! Она вас принимает в прекрасной квартире, она осыпана бриллиантами, она не будет вам стоить ни гроша, если вы захотите, а вы еще недовольны! Черт возьми, чего вам еще нужно?

– Вы правы, но я не в силах совладать с собой, мне делается дурно при мысли, что этот человек ее любовник.

– Прежде всего – нужно установить, любовник ли он еще. Этот человек ей нужен, и это все. Вот уже два дня, как она запирает перед ним двери. Но он пришел сегодня утром, и она должна была принять его приглашение в театр и позволить ему сопровождать ее. Он проводил ее домой, зашел на минуту, но не останется, потому что вы ждете здесь. Все это вполне естественно, по моему. Ведь вы же примирились с герцогом?

– Да, но герцог – старик, и я уверен, что Маргарита не любовница его. К тому же можно при-

знавать одну связь и не признавать двух. Такая терпимость слишком похожа на расчет и сближает человека, который на это идет даже из любви, с теми, кто этажом ниже создает себе ремесло из согласия и извлекает выгоду из этого ремесла.

– Ах, мой друг, как вы отстали! Я видела столько людей, самых благородных, самых великодушных, самых богатых, в таком же положении, которые на это соглашались без всякого усилия, без стыда, без угрызений совести! Но ведь мы каждый день это видим. Да и как же иначе парижским кокеткам вести такой образ жизни, если им не иметь трех или четырех любовников сразу? Никакое состояние, как бы оно ни было значительно, не может выдержать расходов такой женщины, как Маргарита. Состояние, приносящее пятьсот тысяч франков годового дохода, считается во Франции громадным. Ну, так я вам скажу, мой друг, такое состояние не могло бы справиться с этой задачей, и вот почему. Человек, получающий подобный доход, имеет свой дом, лошадей, слуг, экипажи, охоту, друзей, часто он бывает женат, имеет детей, участвует на скачках, играет, путешествует и так далее! Все эти привычки так устойчивы, что, если он их бросит, то скажут, что он разорился. Как там ни считай, а он не может, имея в год пятьсот тысяч франков, дать женщине больше сорока – пятидесяти тысяч, и это предел. Поэтому годовой бюджет такой женщины приходится дополнять другим любовникам. Для Маргариты обстоятельства сложились как нельзя лучше: каким-то чудом ей попался богатый старик с десятью миллионами, жена и дочь его умерли, у него остались только богатые племянники. Он ей дает все, что она хочет, не требуя ничего взамен, но она не может у него брать больше семидесяти тысяч франков в год, и я уверена: попроси она у него больше, он не дал бы ей, несмотря на свое состояние и любовь к ней.

Все эти молодые люди, имеющие двадцать – тридцать тысяч ливров в год, то есть столько, что едва можно существовать в обществе, отлично знают свои возможности. Тем, что они дают такой женщине, как Маргарита, она не может оплатить даже квартиры и слуг. Впрочем, они ей не говорят, что знают это. Они делают вид, что ничего не видят, а когда им надоест, они уходят. Впрочем, бывают и такие, которые разоряются, как дураки, и едут умирать в Африку, задолжав в Париже сто тысяч франков. Вы думаете, что женщина им признательна за это? Ничуть. Наоборот, она говорит, что пожертвовала для него своим положением и что в то время, когда жила с ним, теряла свои деньги. Ах, вам кажется все это ужасным, не так ли? Но ведь все это сущая правда. Вы очень милый молодой человек, я люблю вас от всего сердца. Я живу уже двадцать лет среди содержанок и знаю, что они и чего стоят, и мне не хочется, чтобы вы принимали всерьез каприз хорошенькой девушки.

Кроме того, допустим, что Маргарита любит вас настолько, что откажется и от графа, и от герцога в том случае, если он узнает о вашей связи и предложит ей выбирать между ним и вами. Бесспорно, жертва, которую она вам принесет, будет огромна. Какую же жертву вы ей сумеете принести? Когда наступит пресыщение, когда она будет вам уже больше не нужна, что вы сделаете, чтобы вознаградить ее за то, что она потеряла? Ничего. Вы ее вытащите из круга, с которым связаны ее благосостояние и будущее, она вам отдаст свои лучшие годы и в результате будет забыта. Если вы захотите быть самым обыкновенным человеком, вы бросите ей в лицо ее прошлое и скажете, что поступаете так же, как ее прежние любовники, и покинете ее на верную нищету. Если же вам захочется быть честным человеком, то вы будете считать своей обязанностью не бросать ее. Впрочем, тогда вы сами неизбежно погрузитесь в несчастье, потому что такая связь прощительна молодому человеку, но совершенно непрощительна для человека зрелого. Она становится препятствием во всем, она не дает ему ни жениться, ни продвигаться по службе. Поверьте, мой друг, что я желаю вам добра, не переоценивайте женщин и не давайте вашей содержанке права считать себя вашим кредитором в чем бы то ни было.

Это было мудрое рассуждение. Я не считал Прюданс способной на такую логичность, ничего не мог ей возразить и должен был признать, что она права. Я протянул ей руку и поблагодарил за советы.

– Прогоните поскорее эти вредные теории, – сказала она, – и развеселитесь, жизнь – восхитительная штука, мой друг, все зависит только от того, сквозь какие очки на нее смотреть. Посоветуйтесь с вашим другом Гастоном, мне кажется, он понимает любовь так же, как и я. Вы должны твердо помнить это, иначе будете несносны. Рядом красивая девушка, которая с нетерпением

ждет, чтобы ушел человек, который у нее сидит, думает о вас, бережет для вас ночь и любит вас, я в этом уверена. Теперь станьте рядом со мной у окна, мы увидим, как граф уедет и уступит нам место.

Прюданс открыла окно, и мы облокотились о подоконник. Она смотрела на редких прохожих, я мечтал.

Все, что она мне сказала, не было для меня новостью, и я не мог не признать, что она права, но любовь, которую я чувствовал к Маргарите, с трудом мирилась с этими доводами. Поэтому время от времени я тяжело вздыхал. Прюданс оборачивалась, пожимала плечами, как доктор, который видит, что больной безнадежен.

«Невольно начинаешь думать, что жизнь коротка, – говорил я самому себе, – раз так мимолетны наши переживания! Я знаю Маргариту только два дня, она моя любовница только со вчерашнего дня, но уже настолько заполнила мою душу, мой ум и мою жизнь, что посещение графа Г. – большое несчастье для меня».

Наконец граф вышел, сел в коляску и исчез. Прюданс закрыла окно.

Маргарита позвала нас:

– Идите скорее, накрывают на стол, будем ужинать.

Когда я вошел к ней, Маргарита побежала мне навстречу, бросилась на шею и крепко поцеловала.

– Вы все еще хмуритесь? – сказала она.

– Нет, теперь прошло, – ответила Прюданс. – Я прочла ему несколько нравоучений, и он обещал быть паинькой.

– В добрый час!

Невольно я бросил взгляд на постель, она не была разобрана. Что касается Маргариты, то она уже была в белом пеньюаре. Мы сели за стол.

Маргарита была полна прелести, кротости, отзывчивости, и временами я должен был признавать, что не имею права ничего больше от нее требовать. Сколько людей были бы счастливы на моем месте! Как вергилиевский пастух, я должен был только наслаждаться радостями, которые Бог или, вернее, богини мне давали.

Я старался следовать теориям, которые Прюданс передо мной развивала, и не уступать в веселости моим двум собеседницам, но то, что у них было естественно, у меня было искусственно, и мой первый смех, который их обманывал, был очень близок к слезам.

Наконец ужин кончился, и я остался один с Маргаритой. Она села, по обыкновению, на ковер перед камином и печально смотрела на огонь.

Она задумалась. О чем? Не знаю, я смотрел на нее с любовью и как бы с ужасом, думая о том, что я должен выстрадать ради нее.

– Знаете, о чем я думаю?

– Нет.

– Я нашла хороший выход.

– Какой выход?

– Я не могу этого открыть вам, могу только сказать, какой получается результат. Через месяц я буду свободна, у меня не будет больше долгов, и мы вместе проведем лето.

– И вы не можете мне сказать, как вы этого достигнете?

– Нет, вы должны только любить меня так, как я вас люблю, и тогда все удастся.

– Вы одна нашли этот выход?

– Да.

– И вы одна приведете его в исполнение?

– На мне одной будет лежать его неприятная сторона, – сказала Маргарита с улыбкой, которую я никогда не забуду, – но мы вместе воспользуемся результатами.

Я невольно покраснел при слове «результаты», я вспомнил о Манон Леско, проживавшей с Де Грие деньги господина Б.

Я встал и ответил несколько сухо:

– Позвольте мне, Маргарита, пользоваться результатами только такого дела, которое я принимаю и выполняю сам.

– Что это значит?

– Это значит, что я считаю графа Г, участником вашего удачного предприятия, ни обязанностей, ни результатов которого я не принимаю.

– Вы ребенок. Я думала, что вы меня любите, вижу, что ошиблась.

И она тоже встала, открыла пианино и начала играть «Приглашение к танцу» вплоть до злополучного мажорного пассажа, на котором всегда останавливалась.

Не знаю, сделала ли она это по привычке или чтобы напомнить мне о первом дне нашего знакомства. Одно только знаю: эта мелодия напомнила мне все, я подошел к ней, обнял ее голову и поцеловал.

– Простите меня, – сказал я.

– Охотно, – ответила она, – но обратите внимание: наша связь длится только два дня, и я уже должна вас прощать. Вы плохо держите обещание быть слепо послушным.

– Не сердитесь, Маргарита, я вас слишком люблю и ревную ко всем вашим мыслям. То, что вы мне предлагали только что, меня безумно обрадовало, но тайна, которая окружает это дело, сжимает мне сердце.

– Ну будьте же хоть немного рассудительны, – возразила она, взяв мои руки в свои и посмотрев на меня с очаровательной улыбкой, против которой я не мог устоять. – Вы меня любите, не правда ли, и мы с удовольствием проведем три-четыре месяца в уединении, и это мне только приятно, это мне необходимо для поправления здоровья. Я не могу уехать из Парижа на такое долгое время, не устроив своих дел, а дела такой женщины, как я, всегда очень запутанны, ну и я нашла способ все примирить – и мои деловые отношения, и мою любовь к вам, да, к вам, не смейтесь: я имею эту глупость любить вас! А вы делаете серьезное лицо и произносите серьезные слова. Какое же вы дитя, малое, неразумное дитя! Помните только, что я вас люблю, и не беспокойтесь ни о чем. Согласны?

– Вы отлично знаете, что я на все согласен.

– В таком случае раньше чем через месяц мы будем где-нибудь в деревне гулять по берегу реки и пить молоко. Вы удивляетесь, что я так говорю, я, Маргарита Готье. Парижская жизнь только с виду дает мне столько счастья, она не захватывает меня всю, я начинаю скучать и мечтаю о более спокойной жизни, напоминающей мне мое детство. У всякого человека, каким бы он ни стал в будущем, бывает детство. О, будьте спокойны, я не буду вас уверять, что я дочь полковника в отставке и воспитывалась в монастыре. Я бедная деревенская девушка и шесть лет назад не умела написать своего имени. Вы успокоились, не правда ли? Почему я к вам первому обратилась, чтобы поделиться своим настроением? Наверное, потому, что вы меня любите для меня, а не для себя, а другие меня всегда любили для себя.

Я часто бывала в деревне, но всегда не по-настоящему. Теперь я на вас надеюсь, чтобы достигнуть этого счастья. Будьте же добрым и дайте мне его. Скажите самому себе: она не проживет до старости и мне будет стыдно когда-нибудь, что я не исполнил ее первого желания, которое так легко было исполнить.

Что можно было ответить на эти слова, особенно помня первую ночь любви и в ожидании второй?

Через час Маргарита была в моих объятиях, и если бы она попросила меня совершить преступление, я бы послушался.

В шесть часов утра я ушел и перед уходом спросил у нее:

– До вечера?

Она поцеловала меня еще крепче и ничего не ответила.

Днем я получил следующее письмо:

«Дорогой мой, я немного нездорова, и врач предписал мне покой. Я лягу сегодня рано спать и не увижу вас. Но в награду жду вас завтра в полдень. Люблю вас».

Мои первые слова были: она меня обманывает!

Холодный пот выступил у меня на лбу, я уже слишком любил эту женщину, и это подозрение потрясло меня.

А меж тем с Маргаритой я всегда должен был быть готов к этому. С другими любовницами это часто у меня случалось, и я не особенно об этом беспокоился. Чем же она так покорила меня?

Тогда мне пришло в голову воспользоваться своим ключом и пойти к ней в обычное время. Так я быстро узнаю правду, и если найду у нее кого-нибудь, то выгоню...

Чтобы убить время, я направился на Елисейские поля. Я пробыл там четыре часа. Она не появлялась. Вечером я заходил во все театры, где она бывала. Ее нигде не было.

В одиннадцать я отправился на улицу д'Антэн.

В окнах Маргариты не было света. Я все-таки позвонил.

Швейцар спросил меня, куда я иду.

— К мадемуазель Готье, — ответил я.

— Она еще не вернулась.

— Я подожду ее.

— Никого нет дома.

Это препятствие я мог обойти, потому что у меня был ключ, но я побоялся скандала и ушел.

Однако я не вернулся домой, я не мог уйти оттуда и все время следил за домом Маргариты. Мне казалось, что нужно что-то узнать или, по крайней мере, подтвердить свои подозрения.

Около полуночи знакомая мне карета остановилась около девятого номера.

Вышел граф Г., отпустил экипаж и вошел в дом.

Одно мгновение мне казалось, что ему, как и мне, ответят, что Маргариты нет дома и он уходит, но я тщетно ждал до четырех часов утра.

Я много страдал за последние три недели, но все это ничто в сравнении с тем, что я выстрадал в ту ночь.

XIV

Вернувшись домой, я плакал как ребенок. Нет такого человека, которого не обманули бы по крайней мере раз в жизни и который не знал бы, как при этом страдают.

Я говорил самому себе с лихорадочной решимостью, которая, мне казалось, не покинет меня, что нужно немедленно порвать эту связь, и с нетерпением ждал утра, когда можно будет взять билет, чтобы вернуться к отцу и сестре, в любви которых я был уверен.

Однако мне не хотелось уехать, не известив Маргариту о причине своего отъезда. Только мужчина, который не любит больше свою любовницу, не пишет ей перед разлукой.

Я сочинил в голове писем двадцать.

Я имел дело с самой обыкновенной содержанкой и слишком поэтизировал ее. Она поступила со мной как со школьником: чтобы обмануть меня, она воспользовалась самой простой уловкой, это ясно. Мое самолюбие взяло верх. Нужно было расстаться с этой женщиной и не сказать ей о своих страданиях, и вот что я ей написал самым изящным почерком, со слезами горя и возмущения на глазах:

«Милая Маргарита!

Надеюсь, что ваше вчерашнее нездоровье окончилось пустяками. Я заходил в одиннадцать часов вечера узнать о вашем здоровье, и мне сказали, что вы еще не вернулись. Господин Г. был счастливее меня, он приехал несколько позднее и в четыре часа утра был еще у вас...

Простите, пожалуйста, что я заставил вас проскучать несколько часов в моем обществе, и поверьте, что я никогда не забуду тех счастливых моментов, которыми

я вам обязан.

Я, наверное, зашел бы справиться о вашем здоровье и сегодня, но думаю уехать к отцу.

Прощайте, милая Маргарита, я не настолько богат, чтобы любить вас так, как бы я этого хотел, и не настолько беден, чтобы любить вас так, как вы этого хотели. Забудьте же мое имя, которое вам почти безразлично, а я забуду счастье, которое стало для меня недостижимым.

Посылаю вам ваш ключ, которым я ни разу не воспользовался, он может вам пригодиться, если вы часто болеете так, как вчера».

Вы видите, я не мог закончить этого письма без злой иронии, и это доказывало, что я все еще был влюблен.

Я раз десять перечитывал свое письмо, и меня немного успокоила мысль, что оно заставит Маргариту страдать. Я старался проникнуть в ее чувства и, когда в восемь часов слуга вошел ко мне, отдал ему письмо и велел сейчас же отнести.

– Ответа нужно подождать? – спросил Жозеф (моего слугу звали Жозефом, как всех слуг).

– Если вас спросят, нужен ли ответ, вы скажете, что не знаете, и будете ждать.

Я надеялся, что она мне ответит.

Какие мы жалкие и слабые люди!

Пока мой слуга ходил, я ужасно волновался. То я вспоминал, как Маргарита мне отдалась, и спрашивал себя, по какому праву я ей написал дерзкое письмо. Она могла мне ответить, что не господин Г. меня обманывал, а я обманывал господина Г. – подобный ход рассуждений дает возможность многим женщинам иметь по несколько любовников. То я вспоминал клятвы Маргариты и хотел себя убедить, что мое письмо было еще слишком мягко, что нет достаточно сильных выражений, чтобы бичевать женщину, которая посмеялась над такой искренней любовью, как моя. Потом мне казалось, что лучше было не писать ей, а пойти к ней днем, и тогда бы я мог полюбоваться слезами, которые я заставил бы ее пролить.

В конце концов я задавал себе вопрос, что она мне ответит, и готов уже был поверить ее оправданиям.

Жозеф вернулся.

– Ну? – спросил я.

– Барыня еще спит, – ответил он, – но как только она позвонит, ей передадут письмо, и если будет ответ, его пришлют.

Она спала!

Несколько раз у меня являлась мысль послать за письмом, но я возражал самому себе: может быть, ей уже передали письмо, и она подумает, что я раскаиваюсь.

Чем ближе подходил час, когда я мог ждать ответа, тем больше я жалел, что послал письмо.

Пробило десять, одиннадцать, двенадцать.

В двенадцать я хотел пойти на свидание, как будто ничего не произошло. Теперь я не знал, что придумать, чтобы выйти из заколдованного круга.

У меня мелькнула суеверная мысль, что если я выйду, то по возвращении найду ответ. Ответ, которого ждешь с нетерпением, всегда приходит, когда тебя нет дома.

Я вышел под предлогом позавтракать.

Вместо того чтобы позавтракать в кафе Фоу на бульваре, как обыкновенно, я пошел позавтракать в Пале-Рояль, на улице д'Антэн. Каждый раз, как я издали видел женщину, мне казалось, что это Нанина несет мне ответ. Но я прошел всю улицу д'Антэн и не встретил ни одного посыльного. Я пришел в Пале-Рояль, зашел к Вери. Лакей мне подавал блюдо за блюдом, я ничего не ел.

Невольно мои глаза были все время устремлены на часы.

Я вернулся домой, убежденный, что застану письмо от Маргариты. У швейцара ничего не было. Я надеялся на своего лакея, но и он ничего не видел с тех пор, как я ушел.

Если бы Маргарита мне ответила, я бы уже давно получил ответ.

Тогда я начал раскаиваться в некоторых выражениях своего письма. Я должен был лучше не подавать о себе вестей, и это дало бы ей повод беспокоиться. Если бы я не пришел на свидание, она бы спросила у меня о причинах моего отсутствия, и тогда только я должен был ей все объяснить. Таким образом, ей пришлось бы оправдываться, а больше всего на свете мне хотелось, чтобы она оправдалась. Я чувствовал, что, какие бы доводы она мне ни приводила, я бы им поверил и что я все бы отдал, только бы ее увидеть.

Я начал надеяться, что она сама приедет ко мне, но проходили часы за часами, а она не являлась.

Положительно, Маргарита не была похожа на других женщин: редкая женщина не ответит, получив такое письмо, как мое.

В пять часов я отправился на Елисейские поля.

«Если я ее встречу, – думал я, – я сделаю безразличное лицо, и она будет убеждена, что я не думаю больше о ней».

На повороте Королевской улицы она проехала мимо меня, встреча была так неожиданна, что я побледнел. Не знаю, заметила ли она мое волнение, – я был так смущен, что видел только ее экипаж.

Я прекратил свою прогулку и начал рассматривать театральные афиши, потому что мог еще встретить ее в театре.

Было первое представление в Пале-Рояле. Маргарита, мне казалось, должна была быть там.

Я пришел в театр в семь часов.

Все ложи заполнились, но Маргариты не было.

Тогда я ушел из Пале-Рояля и заходил во все театры, где она чаще всего бывала, – в «Водевиль», в «Варьете», в Оперу.

Ее нигде не было.

Или ее очень огорчило мое письмо и она не смогла пойти в театр, или она боялась встретиться со мной и хотела избежать объяснения.

Вот что мне подсказывало мое тщеславие на бульваре, когда я встретил Гастона и он меня спросил, откуда я.

– Из Пале-Рояля.

– А я из Оперы, – сказал он, – я и вас думал там встретить.

– Почему?

– Потому что Маргарита была там.

– Ах, она была там?

– Да.

– Одна?

– Нет, с приятельницей.

– И только?

– На минутку к ней заходил в ложу граф Г., но уехала она с герцогом. Я каждую минуту ждал вас. Рядом со мной был пустой стул, и я был убежден, что это ваше место.

– Но почему же я должен бывать там, где Маргарита?

– Потому, черт возьми, что вы ее любовник.

– А кто вам это сказал?

– Прюданс. Я встретил ее вчера. Поздравляю вас, мой друг, у вас очень красивая любовница, и не всякий ее может иметь. Берегите ее, она вас прославит.

Этот простой взгляд Гастона мне показал, насколько смешна моя щепетильность.

Если бы я его встретил накануне и он поговорил со мной на эту тему, я, наверное, не написал бы сегодня утром этого глупого письма.

Я был уже готов пойти к Прюданс, чтобы послать ее к Маргарите, но боялся, что она из мести не захочет меня принять, и вернулся домой по улице д'Антэн.

Я снова спросил у швейцара, нет ли письма для меня. Ничего!

«Она ждет, вероятно, нового шага с моей стороны, – думал я, ложась спать, – и не возьму ли я своего письма обратно. Увидев, что от меня нет больше письма, она мне напишет завтра».

В этот вечер я особенно раскаивался в том, что сделал. Я был один, не мог заснуть, страдал от неизвестности и ревности. Я должен был быть около Маргариты и слушать ее чарующий голос, который я слышал только два раза и воспоминание о котором мучило меня в моем одиночестве.

Самое ужасное было то, что я сознавал свою вину: все говорило за то, что Маргарита меня любила. Во-первых, этот план провести лето со мной в деревне; во-вторых, ничто не заставляло ее стать моей любовницей, ведь моего состояния было мало не только для ее жизни, но даже для ее прихотей. Значит, в ней говорила только надежда найти во мне искреннюю привязанность, которая могла бы ей дать отдых от продажной любви, среди которой она жила, а я со второго дня знакомства разрушил эту надежду и заплатил дерзкой иронией за любовь, которой пользовался в течение двух ночей. То, что я делал, было более чем смешно, это было не деликатно. Ведь я даже не платил этой женщине, чтобы иметь право ее поносить, ведь, удрав на второй день, я был похож на паразита в любви, который боится, что ему подадут счет. Я был знаком с ней всего тридцать шесть часов, был ее любовником двадцать четыре часа и еще разыгрывал недотрогу. Вместо того, чтобы не находить себе места от счастья, что она принадлежала мне, я хотел иметь ее всю и принудить ее порвать сразу все старые отношения, которые обеспечивали ее будущее. В чем я мог ее упрекнуть? Ни в чем. Она мне написала, что она нездорова, тогда как она могла мне сказать совершенно просто, с отвратительной откровенностью некоторых женщин, что к ней должен прийти любовник, и, вместо того чтобы поверить ее письму, вместо того чтобы отправиться погулять в совершенно противоположную сторону, вместо того чтобы провести вечер с друзьями и прийти на следующий день в назначенный ею час, я разыгрывал из себя Отелло, шпионил за ней и хотел ее наказать тем, что не явился к ней. Но она, напротив, вероятно, была в восторге от этого разрыва, она, должно быть, считала меня ужасно глупым, и ее молчание было выражением даже не укора, а только презрения.

Я должен был в таком случае сделать Маргарите подарок, и это доказало бы ей мое великодушие и щедрость, позволило бы мне обращаться с ней как с содержанкой и считать, что мы по квитались, но я боялся оскорбить одной тенью продажности если не ее любовь ко мне, то, по крайней мере, мою любовь к ней. Эта любовь была так чиста, что она не допускала разделения и не могла в то же время оплатить самым прекрасным подарком счастье, которое она испытала, как ни коротко было это счастье.

Вот что я передумал в ту ночь, и я был готов пойти и рассказать это Маргарите.

Наступил день, а я все еще не спал, у меня был жар, я не мог ни о чем думать, кроме Маргариты.

Вы понимаете, что я должен был принять какое-нибудь решение и покончить или с этой женщиной, или со своими сомнениями, если только она захочет меня принять. Но вы сами знаете, как трудно принять окончательное решение. Я не мог оставаться дома и, не решаясь отправиться к Маргарите, выбрал иной способ приблизиться к ней, – в случае удачи я мог все объяснить случайностью.

Было девять часов, я побежал к Прюданс и очень удивил ее своим ранним визитом.

Я не решился сказать ей откровенно о цели моего прихода.

Я ответил ей, что вышел из дому рано, чтобы получить место в дилижансе, который ходит в С., где живет мой отец.

– Счастливец же вы, – сказала она, – можете уехать из Парижа в такую хорошую погоду.

Я посмотрел на Прюданс с недоумением, не смеется ли она надо мной. Но лицо ее оставалось серьезным.

– Вы зайдете проститься с Маргаритой? – спросила она по-прежнему серьезно.

– Нет.

– И хорошо сделаете.

– Вы находите?

– Конечно. Раз вы с ней порвали, зачем опять видеться?

– Вы знаете о нашем разрыве?

– Она мне показывала ваше письмо.

– А что она вам сказала?

– Она сказала: «Прюданс, ваш протекже не особенно вежлив. Такие вещи можно думать, но нельзя писать».

– А как, им тоном она это сказала?

– Смеясь. И при этом добавила: «Он два раза ужинал у меня и даже не зашел облегчать свой желудок».

Вот какое впечатление произвели мое письмо и моя ревность. Мое самолюбие было страшно унижено.

– А что она делала вчера вечером?

– Она была в Опере.

– Я знаю. А потом?

– Ужинала дома.

– Одна?

– Нет, кажется, с графом Г.

Итак, разрыв со мной ничего не изменил в привычках Маргариты.

Некоторые люди в подобных случаях дают совет не думать о женщине, которая вас не любит.

– Я очень рад, что не доставил Маргарите огорчения, – возразил я с деланной улыбкой.

– И она вполне права. Вы поступили так, как должны были поступить, вы были рассудительнее. Она вас любила, постоянно о вас говорила и была способна выкинуть какую-нибудь глупость.

– Почему же она мне не ответила, раз она меня любит?

– Она поняла, что не должна была вас любить. Кроме того, женщины позволяют иногда обманывать их любовь, но никогда не позволяют оскорблять их самолюбие, а нельзя не оскорбить самолюбие женщины, бросая ее после двух дней связи, каковы бы ни были принципы разрыва. Я знаю Маргариту, она скорее бы умерла, чем вам ответила.

– Что же мне делать?

– Ничего. Она вас забудет, вы ее забудете, и вам не в чем будет упрекнуть друг друга.

– Но если я ей напишу и попрошу прощения?

– Лучше не делать этого, она вас простит.

Я чуть не бросился на шею Прюданс.

Через четверть часа я был уже дома и писал Маргарите:

«Человек, который раскаивается в письме, написанном вчера, и собирается уехать завтра, если вы его не простите, хочет знать, когда он может у ваших ног излить свое раскаяние. Когда он найдет вас одну? Ведь вы знаете, признания делаются без свидетелей!»

Я сложил этот мадригал в прозе и послал его с Жозефом, который передал письмо самой Маргарите. Маргарита сказала ему, что ответит после.

Я вышел только на минутку пообедать, а в одиннадцать часов вечера у меня еще не было ответа.

Я решил больше не ждать и уехать завтра.

Приняв это решение, уверенный, что не засну, если и лягу, я начал укладывать свой чемодан.

XV

Мы были уже с час заняты приготовлениями к отъезду, когда раздался сильный звонок у моих дверей.

– Открыть? – спросил Жозеф.

– Откройте, – сказал я, недоумевая, кто мог явиться ко мне в подобный час, не решаясь подумать; что это Маргарита.

– Барин, – сказал Жозеф, входя, – там две дамы.

– Это мы, Арман, – крикнул кто-то, и я узнал голос Прюданс.

Я вышел из своей комнаты.

Прюданс стояла и рассматривала вещи в моем кабинете, Маргарита сидела на диване, задумавшись.

Я подошел к ней, стал на колени, взял обе ее руки и взволнованным голосом сказал: «Простите».

Она поцеловала меня в лоб и сказала:

– Вот уже третий раз я вас прощаю.

– Я собирался завтра уезжать.

– Разве мой визит может изменить ваше намерение? Я не собиралась вам помешать уехать из Парижа. Я пришла, потому что днем мне было некогда вам ответить, а я не хотела, чтобы вы думали, что я сержусь на вас. Прюданс не хотела, чтобы я шла, она говорила, что я могу вам помешать.

– Вы можете мне помешать, Маргарита, но в чем?

– Ну, у вас могла быть женщина, – ответила Прюданс, – и ей не было бы особенно приятно увидеть еще двух.

При этих словах Маргарита внимательно посмотрела на меня.

– Милая Прюданс, вы сами не знаете, что говорите.

– Вы очень мило устроились, – ответила Прюданс. – Можно посмотреть вашу спальню?

– Можно.

Прюданс прошла в мою комнату не столько затем, чтобы ее посмотреть, сколько затем, чтобы сгладить неловкость, которую она только что сделала, и оставить нас одних, Маргариту и меня.

– Зачем вы привели Прюданс? – сказал я ей.

– Она была со мной на спектакле, и потом, кто же меня проводит отсюда?

– Ведь я здесь.

– Да, но я не хотела вам помешать, а кроме того, я была уверена, что, проводив меня до моих дверей, вы захотели бы зайти ко мне, а я не могу вам этого разрешить и не хочу, чтобы вы уехали с правом меня обвинять в отказе.

– А почему вы не можете меня принять?

– Потому, что за мной очень следят и самое ничтожное подозрение может меня погубить.

– И это единственная причина?

– Если бы была другая, я бы вам сказала. Нам нечего скрывать друг от друга.

– Послушайте, Маргарита, я не хочу идти окольными путями к моей цели. Скажите откровенно, вы меня любите?

– Очень.

– Ну, так зачем же вы меня обманули?

– Мой друг, если бы я была какая-нибудь знатная герцогиня, если бы у меня было двести тысяч ливров годового дохода, если бы я была вашей любовницей и взяла бы другого любовника, тогда вы имели бы право спрашивать меня, почему я вас обманываю, но я Маргарита Готье, у меня сорок тысяч франков долга, ни гроша состояния, я трачу сто тысяч франков в год, в этом случае ваш вопрос становится праздным и мой ответ бесполезным.

– Это верно, – ответил я, уронив голову на колени Маргариты, – но я вас безумно люблю.

– Ну, мой друг, нужно было или меня меньше любить, или меня лучше понимать. Ваше письмо меня очень огорчило. Если бы я была свободна, я не приняла бы графа третьего дня или, приняв его, пришла бы к вам просить прощения, как вы у меня просили только что, и впредь у меня был бы только один любовник – вы. Мне казалось, что я могу себе доставить это счастье на

полгода, вы не захотели этого: вы хотели знать, как я этого достигну. Ах, это так легко было угадать. Я могла бы вам сказать: мне нужны двадцать тысяч франков. Вы влюблены в меня, вы бы их нашли и после стали бы меня ими попрекать. Я предпочла не быть вам ничем обязанной, вы не поняли моей деликатности. Пока у нас не очерствело окончательно сердце, мы придаем словам и вещам такое значение, которое недоступно другим женщинам. Повторяю вам, средство, которое нашла Маргарита Готье, чтобы уплатить свои долги, не требуя от вас на это денег, было деликатностью с моей стороны, которою вы должны были молча воспользоваться. Если бы вы познакомились со мной сегодня, вы были бы страшно счастливы тем, что я вам пообещала, и не спросили бы у меня, что я делала третьего дня. Мы бываем иногда вынуждены покупать душевное удовлетворение ценою телесного страдания и страдаем гораздо сильнее, когда впоследствии это удовлетворение ускользает от нас.

Я слушал Маргариту и смотрел на нее с восхищением. Когда я думал, что это чудесное создание, женщина, ножки которой раньше я безумно мечтал целовать, думает обо мне, уделяет мне место в своей жизни, а я не довольствуюсь тем, что она мне дает, то спрашивал самого себя: имеет ли границы человеческое желание, если, получив так быстро удовлетворение, оно идет все дальше и дальше?

– Да, это верно, – продолжала она, – мы дети случая, у нас и желания фантастические, и любовь непостижимая. Есть люди, которые разоряются ради нас и ничего не получают, другие нас получают за букет цветов. У нашего сердца бывают капризы, это его единственное развлечение и единственное оправдание. Я отдалась тебе скорее, чем другим, клянусь тебе в этом. Почему? Потому, что ты взял меня за руку, когда я харкнула кровью, потому, что ты заплакал, потому, что ты один меня пожалел. Я скажу сейчас глупость: у меня давно была собачка, которая печально на меня смотрела, когда я кашляла. Я никого не любила, кроме нее.

Когда она подохла, я сильнее плакала, чем после смерти моей матери, потому что она меня била до двенадцати лет. Ну вот, тебя я полюбила так же, как мою собачку. Если бы мужчины знали, чего можно добиться единственной слезой, они были бы больше любимы, а мы бы не так их разоряли.

Твое письмо тебя выдало, оно мне открыло, что у тебя не хватает душевной тонкости, оно принесло тебе гораздо больше вреда в моих глазах, чем все, что ты мог мне сделать. Оно было вызвано ревностью, это верно, но ревностью злой и дерзкой. Я была грустно настроена, когда получила твое письмо, рассчитывала тебя увидеть в полдень, позавтракать с тобой, одним твоим присутствием прогнать надоедливую мысль, которая меня мучила и с которой до знакомства с тобой я легко примирялась.

К тому же, – продолжала Маргарита, – мне казалось, что только перед тобой я могу думать и говорить свободно. Все, кто окружает нас, подмечают каждое наше слово, делают выводы из наших самых незначительных поступков. У нас, конечно, нет друзей. У нас есть эгоистичные любовники, которые тратят свое состояние не на нас, как они это говорят, а в угоду своему тщеславию.

Для них мы должны быть веселы, когда они веселы, здоровы, когда они хотят ужинать, такими же скептиками, как они сами. Нам запрещено иметь душу под страхом позора и потери кредита.

Мы не принадлежим себе. Мы перестаем быть людьми и становимся вещами. Мы в первую очередь удовлетворяем их тщеславие и в последнюю можем рассчитывать на их уважение. У нас есть подруги, но такие, как Прюданс. Это бывшие содержанки, которые не потеряли еще вкуса к широкой жизни, но их возраст не позволяет им этого. Тогда они становятся нашими подругами или, скорее, собутыльницами. Их дружба доходит до рабской угодливости, но никогда не бывает бескорыстной. Их советы всегда выгодны для них. Им совершенно безразлично, будет ли у нас на десять любовников больше, лишь бы они получили платье или браслет и могли бы время от времени кататься в нашем экипаже и появляться в театре в нашей ложе. Они получают наши старые букеты и берут займы наши шали. Они никогда не оказывают нам самой маленькой услуги, не заставив за нее заплатить вдвойне. Ты сам видел это в тот вечер, когда Прюданс принесла мне

шесть тысяч франков, за которыми я просила ее сходить к герцогу, она заняла у меня пятьсот франков и никогда мне их не вернет или вернет в виде шляп, которые вечно будут лежать в картонках.

У нас или, вернее у меня была только одна надежда на счастье: найти себе, печальной и больной, человека, стоящего настолько выше всего этого, что он не требовал бы у меня отчета в моих поступках и любовь наша была бы скорее духовною, чем плотскою. Такого человека я нашла в герцоге, но герцог стар, а старость ни оберегает, ни утешает. Мне казалось, что я могу принять жизнь, которую он мне создавал, но, знаешь, я умираю с тоски, а чтобы умереть, не все ли равно, броситься в огонь или отравиться углеродом.

Тогда я встретила тебя, молодого, пылкого, счастливого, и пыталась создать из тебя человека, которого я призывала в своем мучительном одиночестве. Я любила в тебе не то, что в тебе было, а то, что должно было быть. Ты не принимаешь этой роли, отбрасываешь ее как недостойную тебя, ты оказался самым обыкновенным любовником. Ну и поступай, как остальные, плати мне, и не будем говорить об этом.

Маргариту утомила эта долгая исповедь, она откинулась на спинку дивана и, чтобы заглушить легкий приступ кашля, поднесла платок к лицу.

– Прости, прости, – шептал я, – я все понял, но я хотел это услышать от тебя, моя несравненная Маргарита. Забудем все, будем помнить только об одном: мы принадлежим друг другу, мы молоды и любим друг друга. Делай со мной что хочешь, я твой раб, твоя собака, но, ради всего святого, разорви письмо, которое я тебе написал, и позволь мне не уезжать завтра: я не перенесу этого.

Маргарита вытащила мое письмо из-за лифа и, подавая его мне, сказала с очаровательной улыбкой:

– Вот оно.

В это время вернулась Прюданс.

– Знаете, Прюданс, что он просит? – спросила Маргарита.

– Он просит прощения?

– Да.

– И вы простили?

– Пришлось. А что еще он просит?

– Не знаю.

– Поужинать с нами.

– И вы на это соглашаетесь?

– А как вы думаете?

– Я думаю, что вы оба – неразумные дети. Но, кроме того, я думаю, что мне очень хочется есть, и чем скорее вы согласитесь, тем скорее мы поужинаем.

– Едемте, – сказала Маргарита. – Мы поместимся втроем в моей карете. Послушайте, – добавила она, обращаясь ко мне, – Нанина будет уже спать, вы откроете дверь, возьмете ключ. Постарайтесь больше не терять его.

Я горячо поцеловал Маргариту.

В это время вошел Жозеф.

– Барин, – сказал он, – чемоданы готовы.

– Совершенно?

– Да, барин.

– Ну, так развяжите их: я не поеду.

XVI

– Я мог бы в нескольких словах рассказать вам о начале этой связи, – продолжал Арман, – но я хотел, чтобы вы знали, как мы к этому пришли, как я согласился на все требования Маргариты,

как Маргарита решила жить только со мной.

На следующий день после ее визита ко мне я ей послал «Манон Леско».

С этого момента мне пришлось изменить свою жизнь, так как я не мог изменить образа жизни моей любовницы. Прежде всего я не хотел оставить себе возможности раздумывать над той ролью, которую я на себя принял, так как это не могло мне принести много радости. Поэтому моя спокойная жизнь приняла шумный, беспорядочный характер. Не думайте, что самая бескорыстная любовь кокетки ничего не стоит. Ужасно дорого стоят тысячи различных мелочей, вроде цветов, лож, ужинов, поездок за город, в которых никогда нельзя отказать своей любовнице.

Как я вам уже говорил, у меня нет состояния. Мой отец служил и служит главным податным инспектором в С. Он славится там своей честностью, благодаря которой нашел залог, необходимый для вступления в должность. Эта должность дает ему сорок тысяч франков в год, и за десять лет службы он выплатил свой залог и начал откладывать приданое для сестры. Мой отец очень почтенный человек. Моя мать, умирая, оставила ренту в шесть тысяч франков, которую он разделил между сестрой и мной в тот день, когда получил место, потом, когда мне минул двадцать один год, он добавил к этой маленькой ренте еще по пяти тысяч ежегодно, убеждая меня, что с восемью тысячами франков я могу очень хорошо прожить в Париже, если постараюсь к тому же создать себе положение в адвокатуре или медицине. Я приехал в Париж, окончил юридический факультет, стал адвокатом и, как большинство молодых людей, положил диплом в карман и увлекся легкомысленной парижской жизнью. Расходы мои были очень скромны, но все-таки я тратил за восемь месяцев весь мой годовой доход, а четыре летних месяца проводил у отца. Я тратил двенадцать тысяч франков годового дохода и имел репутацию хорошего сына. Долгов у меня не было.

Вот как обстояли мои дела, когда я познакомился с Маргаритой.

Вы понимаете, что невольно мои расходы увеличились. Маргарита была очень капризна по натуре и принадлежала к той категории женщин, которые никогда не смотрят как на серьезный расход на бесчисленные развлечения, из которых состоит их жизнь. И поэтому, желая провести со мной как можно больше времени, она мне писала с утра, что будет обедать со мной, но не дома, а где-нибудь в ресторане, в городе или за городом. Я заезжал за нею, мы обедали, отправлялись в театр, после спектакля часто ужинали. Я тратил за один вечер четыре или пять луидоров, что составляло в месяц две с половиной – три тысячи франков. Таким образом, моего годового дохода хватило бы на три с половиной месяца, и мне пришлось бы делать долги или бросить Маргариту.

Я согласен был на все, но не на этот последний выход.

Простите, что заставляю вас выслушивать все эти подробности, но вы увидите, что они послужили причиной дальнейших событий. Я вам рассказываю простую правдивую историю со всеми ее наивными подробностями и во всей ее простоте.

Я знал, что никакая сила на свете не может меня заставить забыть любовницу, следовательно, я должен был найти способ покрыть расходы, которые она меня заставляла делать. К тому же эта любовь настолько меня захватила, что время, которое я проводил вдали от Маргариты, казалось мне годами и у меня была потребность прожигать это время каким-нибудь способом, чтобы не чувствовать его.

Я начал с того, что позаимствовал пять или шесть тысяч из капитала и пристрастился к игре. С тех пор, как уничтожили игорные дома, игра идет повсюду. Раньше можно было найти свое счастье у Фраскати: играли на деньги, и если проигрывали, то могли утешиться возможностью выигрыша, а теперь, за исключением клубов, где до некоторой степени следят за расплатой, повсюду можешь быть уверенным, что не получишь выигрыша. Легко понять, почему это происходит.

Игра ведется молодыми людьми с большими потребностями и малыми средствами, они играют, и результат получается вполне естественный: если они выигрывают, проигравшие оплачивают лошадей и любовниц этих господ, что очень неприятно. Делаются долги, отношения, завязавшиеся вокруг зеленого стола, кончаются ссорами, в которых страдает честь и жизнь, честные люди разоряются другими честными молодыми людьми, имеющими только один недостаток – отсутствие двухсот тысяч ливров годового дохода.

Я уже не говорю о тех, которые жульничают во время игры и в один прекрасный день быва-

ют вынуждены скрыться, чтобы избежать суда.

Я окунулся в эту шумную, лихорадочную, тревожную жизнь, которая раньше меня пугала, а теперь стала необходимым дополнением моей любви к Маргарите. Что мне было делать?

Если бы ночи, что я не проводил у Маргариты, я должен был бы провести дома, я не сумел бы заснуть. Ревность не дала бы мне спать и сжигала бы мой ум и мою кровь. Игра отклоняла в другую сторону лихорадку, сжигавшую меня, направляла ее на другую страсть, которая невольно меня захватывала, пока не наступал час, когда я должен был явиться к своей любовнице. Но когда наступал этот час – все равно, выигрывал я или проигрывал, – я равнодушно уходил от стола, жалея тех, кого там оставлял и кого не ждет такое счастье, как меня, когда они уйдут отсюда.

Для большинства игра была необходимостью, для меня это было лекарство.

Исцелившись от любви к Маргарите, я исцелился от пристрастия к игре.

Среди всей этой сутолоки я сохранял тем не менее достаточное хладнокровие: я терял столько, сколько мог заплатить, и выигрывал столько же, сколько мог потерять.

В общем мне везло. У меня не было долгов, а тратил я втрое больше, чем тогда, когда не играл. Нелегко было отказаться от жизни, которая давала мне возможность, не стесняясь, удовлетворять все прихоти Маргариты. Что до нее, то она меня любила все так же, если не сильнее.

Как я вам уже говорил, вначале она меня принимала с полуночи до шести утра, потом время от времени она меня пускала к себе в ложу и ездила со мной обедать. Однажды я ушел в восемь часов, а один раз даже в полдень.

Раньше нравственного переворота в Маргарите, произошел переворот физический. Я начал ее лечение, и несчастная, угадав мои намерения, из благодарности слушалась меня. Мне удалось без всяких усилий и трений заставить ее бросить свои привычки. Мой доктор, с которым я советовался, сказал мне, что только тишина и спокойствие могут сохранить ее здоровье, и поэтому вместо ужинов и бессонных ночей я установил правильный режим и правильный сон. Маргарита невольно освоилась с этим новым образом жизни, благотворные результаты которого испытывала на себе. Иные вечера она проводила дома или, если была хорошая погода, закутывалась в шаль, и мы шли пешком, как дети, в темные аллеи Елисейских полей. Она возвращалась усталая, слегка закусывала, немного музицировала или читала и ложилась в постель, чего раньше с ней никогда не бывало. Ее кашель, который каждый раз раздирал мне душу, почти совсем прекратился.

Через полтора месяца о графе не было и разговора, им она окончательно пожертвовала. Только из-за герцога я должен был скрывать свою связь с Маргаритой, но и ему часто приходилось уходить ни с чем, когда я бывал у нее, под предлогом, что барыня спит и не велела будить.

Благодаря привычке и даже потребности, выработавшейся у Маргариты, видеть меня мне пришлось бросить игру как раз в тот момент, когда всякий ловкий игрок бросил бы ее. Расплатившись со всеми, я имел в общем итоге тысяч двенадцать, и мне казалось, что это неисчерпаемый капитал.

Наступил момент, когда я обычно уезжал к отцу и сестре, а я не уезжал. Я часто получал от них письма, в которых они меня просили приехать.

Я отвечал на эти приглашения, как умел, повторял постоянно, что чувствую себя хорошо, что мне не нужно денег.

Однажды утром Маргарита проснулась от яркого солнца, вскочила с постели и спросила меня, не хочу ли я поехать с ней на целый день за город.

Мы послали за Прюданс и отправились все втроем. Маргарита велела Нанине передать герцогу, что она воспользовалась хорошей погодой и поехала с мадам Дювернуа за город.

Присутствие Прюданс было необходимо, чтобы успокоить ревность старого герцога, а кроме того, она как бы была создана для загородных прогулок. Она была бесконечно весела и имела хороший аппетит, в ее присутствии никто не мог соскучиться, и она отлично умела заказывать яйца, вишни, молоко, жареного кролика – словом, обычный завтрак в окрестностях Парижа.

Нам нужно было только решить, куда мы поедем.

И тут Прюданс пришла нам на помощь.

– Вы хотите поехать в настоящую деревню?

– Да.

– Ну, тогда поедem в Буживаль, к вдове Арну. Арман, отправляйтесь за коляской.

Через полтора часа мы были уже у вдовы Арну.

Вы знаете, может быть, эту гостиницу? В будние дни здесь пансион, в праздники – кабачок. Из сада, который расположен на небольшой возвышенности, открывается чудесный вид. Налево Марлийский водоем скрывает горизонт, направо тянется бесконечная линия холмов; тихая река, убаюкиваемая шелестом высоких тополей, как широкая муаровая лента легла между долиной Габийон и островом Круасси. Вдали в ярких лучах солнца возвышаются маленькие беленькие домики с красными крышами и фабрики. Еще дальше выступают смутные очертания Парижа.

Как и обещала Прюданс, это была настоящая деревня, и, должен признаться, завтрак здесь был тоже настоящий.

Во мне говорит не только благодарность за счастье, которым я обязан этим местам, но вообще Буживаль – самое красивое место на свете, несмотря на его ужасное имя. Я много путешествовал, видел много красот природы, но не видел ничего лучше этой маленькой веселой деревушки, расположенной у подножия холма.

Мадам Арну предложила нам покататься на лодке, на что Маргарита и Прюданс с радостью согласились. Любовь и природа всегда сочетались лучше всего, и это вполне понятно: самая лучшая рамка для любимой женщины – синее небо, благоухание цветов, ветерок, уединение полей и лесов. Как ни сильно вы любите женщину, как ни доверяете ей, как ни верите в будущее, все же вы более или менее ревнуете. Если вы когда-нибудь были влюблены, серьезно влюблены, вы должны были испытывать потребность удалить от света то существо, с которым вы хотели бы слиться. Как бы ни была она равнодушна к обстановке, ее окружающей, любимая женщина теряет часть своего благоухания, своей цельности в соприкосновении с людьми и вещами. Я это чувствовал больше, чем кто-либо другой. Моя любовь не была самой обыкновенной любовью: я был безмерно влюблен. Но я был влюблен в Маргариту Готье. Это значит, что в Париже я мог на каждом шагу встретиться с человеком, который был любовником этой женщины или будет им завтра, тогда как в деревне, среди людей, которых мы никогда не видели и которые не интересовались нами, на лоне природы, празднующей свой весенний праздник, вдалеке от городского шума, я мог любить без стыда и опасения.

Мало-помалу в ней исчезала куртизанка. Около меня была молодая красивая женщина, которую я любил, которая меня любила и которую звали Маргаритой. Прошлое стало терять свои очертания, будущее было безоблачно. Солнце светило моей любовнице, как оно светило бы самой целомудренной невесте. Мы оба прогуливались в этих очаровательных местах, которые казались нарочно созданными, чтобы здесь перечитывать стихи Ламартина или петь романсы Скудо. На Маргарите было белое платье, она склонялась ко мне на плечо, вечером при свете звезд повторяла мне то, что говорила и накануне, а жизнь проходила где-то вдали, не набрасывая тени на радостные дни нашей молодости и любви.

Я предавался мечтам среди зелени, в этот яркий солнечный день, когда я лежал на траве на острове, к которому мы пристали. Мысли мои, свободные от всех человеческих пут, наложенных на них раньше, бежали одна за другой и отдавались надеждам.

К тому же я видел на берегу очаровательный маленький двухэтажный домик с полукруглой решеткой. За решеткой виднелась зеленая, как бы бархатная лужайка перед домом, а позади – маленький лесок с таинственными уголками, поросший мхом, который наутро сглаживает все тропинки, проложенные накануне. Вьющиеся растения оплетали крыльцо этого необитаемого дома и поднимались по стенам до окон.

Я так долго смотрел на этот домик, что мне казалось, будто он принадлежит мне, так он подходил к моим грезам. Я видел там Маргариту и себя, днем – в лесочке, покрывающем холм, вечером – на лужайке, и задавал самому себе вопрос: бывают ли земные создания так счастливы, как мы?

– Какой красивый домик! – сказала Маргарита, которая видела, куда устремлены мои глаза, а может быть, и мысли.

– Где? – спросила Прюданс.

– Там. – И Маргарита указала пальцем на домик.

– Ах какой прелестный! – сказала Прюданс. – Он вам нравится?

– Очень.

– Ну, так попросите герцога снять его, я уверена, он согласится на это. Если хотите, я возьму это на себя.

Маргарита посмотрела на меня, как бы спрашивая, что я об этом думаю.

Мои грезы рассеялись при последних словах Прюданс, и я так жестоко соприкоснулся с действительностью, что был совершенно оглушен этим падением.

– Да, это чудесная идея, – пробормотал я, сам не зная, что говорю.

– Ну, так я устрою это, – сказала Маргарита, сжимая мою руку и по-своему понимая мои слова. – Пойдемте посмотрим, сдается ли он.

Домик был свободен и сдавался за две тысячи франков.

– Вы будете счастливы здесь? – спросила она меня.

– Вы меня пустите сюда?

– А для кого же я хочу закопаться в эту дыру, если не для вас?

– Ну, так позвольте снять этот дом мне.

– Вы с ума сошли! Это не только бесполезно, это даже опасно. Вы отлично знаете, что я не имею права принимать что-нибудь от другого человека. Предоставьте мне действовать, дорогой мой, и не вмешивайтесь в мои дела.

– А когда у меня будет два свободных дня, – сказала Прюданс, – я буду приезжать к вам.

Мы вышли из домика и отправились в Париж, всю дорогу болтая об этом решении. Я обнимал Маргариту и, когда мы выходили из экипажа, уже не так недружелюбно относился к проекту своей возлюбленной.

XVII

На следующий день Маргарита рассталась со мной рано, так как герцог должен был прийти утром. Она обещала написать мне, как только он уйдет, и назначить место свидания на вечер.

И действительно, я получил днем следующую записку:

«Я еду с герцогом в Буживаль, будьте вечером в восемь часов у Прюданс».

В назначенный час Маргарита вернулась и тоже пришла к мадам Дювернуа.

– Теперь все устроено, – сказала она, входя.

– Домик снят? – спросила Прюданс.

– Да, он сейчас же согласился.

Я не знал герцога, но мне было стыдно так его обманывать.

– Но это еще не все, – продолжала Маргарита.

– Что еще?

– Я приискала помещение для Армана.

– В том же доме? – спросила Прюданс, смеясь.

– Нет, рядом, там, где мы с герцогом завтракали. Пока он любовался видом, я спросила у мадам Арну – так ведь, кажется, ее зовут? – найдется ли у нее приличное помещение. Оно оказалось весьма подходящим: гостиная, прихожая и спальня за шестьдесят франков в месяц. Обстановка такая, что любой ипохондрик почувствует себя хорошо. Я оставила за собой это помещение. Хорошо я поступила?

Я бросился на шею Маргарите.

– Все устроится очаровательно, – продолжала она, – у вас будет ключ от маленькой калитки, герцогу я обещала ключ от главных ворот, но он не возьмет его, потому что он будет приезжать

днем, если вообще будет приезжать. Между нами говоря, мне кажется, что он очень доволен этим капризом, благодаря которому я на некоторое время уеду из Парижа и зажму рот его семье. Однако он меня спросил, как это я, при моей любви к Парижу, решила поселиться в деревне. Я ему ответила, что больна и отдохну там. По-видимому, он не совсем мне поверил. Этот несчастный старик всегда настороже. Нам нужно быть очень осторожными, милый Арман; он будет за мной следить и там, ведь он не только снял мне дом, он еще должен заплатить долги, которых у меня накопилось немало. Вы согласны со всем?

– Да, – ответил я, заглушая все сомнения, которые порой зарождались во мне от этого образа жизни.

– Мы осмотрели весь дом, мы отлично там устроимся. Герцог всем интересовался. Ах, мой друг, – добавила безумная, целуя меня, – вы неплохо устроились, о вашем ложе позаботится миллионер.

– А когда вы переезжаете? – спросила Прюданс.

– Очень скоро.

– Вы возьмете с собой экипаж и лошадей?

– Я возьму с собой все. На вас останется надзор за моей квартирой на время моего отсутствия.

Через неделю Маргарита переселилась в Буживаль, а я поселился в гостинице.

Тут началась жизнь, которую мне трудно вам описать.

В начале деревенской жизни Маргарита не могла отказаться от своих городских привычек: все время праздновалось новоселье, все ее подруги приезжали погостить, и в течение целого месяца каждый день за столом было по восьми – десяти человек. Прюданс, со своей стороны, привозила своих знакомых и так хозяйничала в доме, как будто он ей принадлежал.

Деньги герцога оплачивали, конечно, все счета, но время от времени Прюданс брала у меня тысячу франков, как будто от имени Маргариты. Вы помните, я был в выигрыше и с удовольствием давал Прюданс то, что Маргарита у меня просила через нее. В страхе, что ей понадобится больше, чем у меня есть, я занял в Париже такую же сумму, какую уже раз занимал и вернул.

Итак, у меня опять было двенадцать тысяч франков, не считая ренты. Однако удовольствие принимать подруг у Маргариты немного уменьшилось, потому что это вело к большим расходам и, главное, заставляло ее иногда обращаться ко мне за деньгами. Герцог снял этот домик, желая, чтобы Маргарита отдохнула, и не появлялся там больше совсем, опасаясь все-таки встретиться с большой шумной компанией. Приехав однажды пообедать с Маргаритой, он попал в разгар завтрака. Пятнадцать человек сидели за столом, и завтрак не был окончен к тому времени, когда он рассчитывал обедать. Не подозревая ничего, он открыл дверь в столовую. Его появление было встречено единодушным смехом, и он должен был поспешно отступить перед непринужденной веселостью женщин, находившихся в столовой.

Маргарита встала из-за стола, догнала герцога в соседней комнате и старалась насколько возможно сгладить это происшествие, но старик, уязвленный в своем самолюбии, не мог забыть обиды: он сказал довольно сурово Маргарите, что ему надоело оплачивать глупые затеи женщины, которая не сумела даже заставить уважать его в своем доме, и уехал взбешенный.

С этого дня о нем ничего не было слышно. Маргарита прогнала гостей, изменила свои привычки, но герцог больше не появлялся. Я от этого только выиграл, моя возлюбленная принадлежала теперь только мне, и мои мечты в конце концов осуществились. Маргарита не могла больше жить без меня. Она смело открывала перед всеми нашу связь, и в конце концов я расположился у нее совсем. Слуги звали меня барином и смотрели на меня как на хозяина.

Прюданс очень порицала Маргариту за эти перемены, но Маргарита отвечала, что любит меня, не может без меня жить и, что бы там ни случилось, не откажется от счастья видеть меня постоянно около себя, а кому это не нравится, может не приходить.

Я это сам слышал однажды, когда Прюданс и Маргарита заперлись в комнате для важных разговоров, а я подслушивал у дверей.

Через некоторое время Прюданс опять появилась.

Я был в саду, когда она вошла в дом. Она меня не видела. Я понял по тому, как ее встретила Маргарита, что снова произойдет такой же разговор, и опять решил его подслушать.

Обе женщины заперлись в будуаре, и я насторожился.

– Ну? – спросила Маргарита.

– Я видела герцога.

– Что он вам сказал?

– Он готов вам простить ту сцену, но узнал, что вы открыто живете с Арманом Дювалем, и этого вам не прощает. Пускай Маргарита бросит этого человека, сказал он мне, и, как прежде, я ей буду давать все, что нужно, в противном случае пускай она ничего от меня не ждет.

– И что вы ответили?

– Что я вам передам его решение и постараюсь вас уговорить. Подумайте только, дорогая, какое положение вы теряете, ведь Арман никогда не сумеет создать вам его. Он любит вас всей душой, но у него мало денег, и настанет день, когда он должен будет покинуть вас, но тогда уже будет слишком поздно и герцог не захочет ничего сделать для вас. Хотите, я поговорю с Арманом?

Маргарита, казалось, раздумывала и ничего не отвечала. Сердце у меня билось ужасно в ожидании ответа.

– Нет, – сказала она, – я не покину Армана и не буду прятаться. Может быть, это безумие, но я люблю его, и ничего с этим не поделаешь! К тому же теперь он привык меня любить, ему будет слишком тяжело оставлять меня хотя бы на час в день. А мне так мало осталось жить, что я не могу заставлять себя страдать, исполняя волю какого-то старика, один вид которого меня старит. Пускай его деньги останутся при нем, я обойдусь без них.

– Но как вы это сделаете?

– Не знаю.

Прюданс собиралась что-то ответить, но я быстро вошел и бросился к ногам Маргариты, покрывая ее руки слезами, которые проливал от радости, что так любим.

– Моя жизнь принадлежит тебе, Маргарита. Тебе не нужен этот человек, ведь я с тобой! Я никогда тебя не покину, какой бы ценой я ни покупал счастье, которое ты мне даешь! Не нужно больше стеснений, Маргарита, мы любим друг друга! Что нам до всего остального!

– Да, я люблю тебя, Арман! – шептала она, обвивая мою шею руками. – Я тебя люблю так, как не считала себя способной любить. Мы будем счастливы, мы будем жить тихо, и я навеки прощусь с той жизнью, воспоминание о которой заставляет меня теперь краснеть. Ты никогда не будешь укорять меня прошлым?

Слезы заглушали мой голос. В ответ я мог только прижать Маргариту к сердцу.

– Ну, – сказала она, обращаясь к Прюданс, – передайте эту сцену герцогу и скажите ему, что мы в нем не нуждаемся.

С этого дня о герцоге не было и речи. Маргарита совершенно изменилась. Она избегала всего, что могло мне напомнить жизнь, среди которой я ее встретил. Ни одна жена, ни одна сестра в мире не заботилась и не любила так своего мужа, своего брата, как она любила меня. Эта болезненная натура чутко отзывалась на все настроения, была доступна всем чувствам. Она порвала со своими друзьями и привычками, со своим прежним языком и расходами. Если бы кто-нибудь видел нас, когда мы выходим из домика, отправляясь кататься на лодке, купленной мной, то никогда бы не поверил, что эта дама в белом платье, в большой соломенной шляпе, с шелковой накидкой в руках – та самая Маргарита Готье, пересуды о чьей роскоши не смолкали еще четыре месяца назад.

Увы, мы слишком поторопились с нашим счастьем, как будто предчувствовали, что оно будет недолговечно.

За два месяца мы ни разу не были в Париже. Никто к нам не приезжал, за исключением Прюданс и Жюли Дюпре, о которой я вам говорил и которой Маргарита впоследствии передала трогательную повесть, находящуюся сейчас у меня под подушкой.

Целые дни я проводил у ног своей возлюбленной. Мы открывали окна в сад и любовались,

как лето дает жизнь цветам под сенью деревьев. Тесно прижавшись друг к другу, мы наслаждались этой настоящей жизнью, которой ни Маргарита, ни я раньше не понимали.

Эта женщина, как ребенок, радовалась всякому пустяку. Бывали дни, когда она бегала по саду как десятилетняя девочка за бабочкой или стрекозой. Эта куртизанка, которая заставляла тратить на букеты больше денег, чем это нужно для беззаботной жизни целой семьи, сидела иногда на лужайке целый час, рассматривая простой цветочек, носящий ее имя.

Именно в это время она начала читать «Манон Леско». Я часто заставлял ее за этой книгой, и она всегда мне говорила, что женщина, которая любит, не может делать то, что делала Манон.

Два или три раза ей писал герцог. Она узнавала почерк и, не читая, отдавала мне письма.

Некоторые выражения в письме вызывали у меня слезы.

Закрыв свой кошелек для Маргариты, он рассчитывал вернуть ее себе, но, увидев бесполезность этой меры, перестал на ней настаивать, снова просил у нее позволения вернуться, каковы бы ни были условия этого возвращения.

Я читал эти настойчивые и однообразные письма и рвал их, не говоря Маргарите об их содержании, не советуя ей увидеться со стариком, хотя чувство жалости к несчастному и побуждало меня к тому. Я боялся, что она увидит в этом совете желание переложить снова на герцога все заботы о доме, больше всего я боялся, что она может меня считать способным сложить с себя заботу о ее жизни.

В конце концов, герцог, не получая ответа, перестал писать, а мы с Маргаритой продолжали жить вместе, не думая о будущем.

XVIII

Мне трудно нарисовать вам картину нашей новой жизни. Она состояла из целого ряда детских забав, очаровательных для нас, но совершенно бессмысленных для тех, кто услышит о них. Вы знаете любовь к женщине, вы знаете, как незаметно проходит один день и наступает в любовной истоме следующий. Вам знакомо это полное забвение всего окружающего, которое порождает сильная, доверчивая и разделенная любовь. Все, кроме любимой женщины, кажется лишним. Начинаешь жалеть о том, что растратил частицы своего сердца на других женщин, и думаешь, что всю жизнь будешь сжимать только ту руку, которую держишь в своих руках. Мозг не хочет ни работы, ни воспоминаний – словом, ничего, что может его отвлечь от единственной мысли, которой он занят. Каждый день мы открываем в нашей любовнице новые прелести, новые наслаждения.

Жизнь становится сплошным исполнением желания, душа – весталкой, обязанной поддерживать священный пламень любви.

Часто с наступлением ночи мы отправлялись в маленький лесок позади дома. Там мы прислушивались к веселой гармонии вечера, думая о том часе, когда окажемся в объятиях друг друга. В другие дни мы все утро проводили в постели, не пропуская даже солнца к нам в комнату. Занавеси были низко спущены, и на время внешняя жизнь для нас не существовала. Одна только Нанина имела право открывать нашу дверь, но только чтобы принести нам завтрак, – мы ели, не поднимаясь, и все время прерывали еду смехом и шутками... Затем засыпали на несколько минут, потому что, отдаваясь любви, мы были похожи на двух упрямых пловцов, которые появляются на поверхности воды только затем, чтобы перевести дыхание.

Однако я подмечал иногда у Маргариты грустную задумчивость и даже слезы. Я спрашивал ее, откуда эта внезапная грусть, и она мне отвечала:

– Наша любовь, Арман, не похожа на обыкновенную любовь. Ты меня любишь так, как будто я никому до тебя не принадлежала, и я боюсь, что впоследствии, раскаявшись в своей любви и начав меня упрекать за мое прошлое, ты вынудишь меня вести ту же жизнь, из которой меня вывел. Ведь, испробовав новой жизни, я не перенесу теперь той, другой! Скажи мне, что ты меня никогда не покинешь.

– Клянусь тебе!

При этих словах она взглянула на меня, как бы желая прочесть в моих глазах, насколько чи-

стосердечна клятва, потом бросилась в мои объятия и, спрятав голову на моей груди, сказала:

– Ты не знаешь, как я люблю тебя!

Однажды вечером мы сидели, облокотившись о подоконник, смотрели на луну, с трудом поднимавшуюся с облачного ложа, и прислушивались к ветерку, шумевшему в ветвях деревьев. Мы сидели обнявшись и не разговаривая. Вдруг Маргарита сказала мне:

– Вот и зима наступила, хочешь поехать куда-нибудь?

– Но куда?

– В Италию.

– Тебе скучно здесь?

– Я боюсь зимы, особенно нашего возвращения в Париж.

– Почему?

– По многим причинам.

И она продолжала, не объясняя мне своих опасений:

– Хочешь уехать? Я продам все, что у меня есть. Мы поселимся там, я стану совсем другой, никто не будет знать, кто я такая. Хочешь?

– Поедем, если тебе этого хочется, Маргарита, поедем путешествовать, – сказал я. – Но зачем продавать твои вещи, которым ты очень обрадуешься по возвращении? Я не так богат, чтобы принять такую жертву, но я достаточно богат, чтобы мы могли с комфортом путешествовать в продолжение пяти-шести месяцев.

– Нет, не стоит, – продолжала она, отходя от окна и садясь на диван в темном углу комнаты. – Зачем ехать так далеко, тратить деньги? Ты и так много на меня тратишь.

– Ты меня упрекаешь в этом, Маргарита? Это неблагородно с твоей стороны.

– Прости, мой друг, – сказала она, протянув мне руку, – грозовая погода расстраивает мне нервы, я говорю совсем не то, что хочу сказать. – И, поцеловав меня, она задумалась.

Такие сцены происходили нередко, я не знал их причины, но подмечал у Маргариты какую-то тревогу о будущем. Она не могла сомневаться в моей любви, так как с каждым днем моя любовь все возрастала, а меж тем я часто заставлял ее печальной, и в объяснение своей печали она всегда выдвигала физическое недомогание.

Боясь, что ее утомляет слишком однообразная жизнь, я предлагал ей вернуться в Париж, но она всегда отклоняла это предложение и уверяла меня, что может быть счастлива только в деревне.

Прюданс появлялась редко, но вместо этого она писала письма. Я никогда не просил Маргариту показать мне их, хотя они всегда вызывали в ней большую тревогу. Я не знал, что и думать.

Однажды Маргарита была у себя в комнате. Я вошел. Она писала.

– Кому ты пишешь? – спросил я.

– Прюданс. Хочешь, я тебе прочту то, что написала?

Я боялся высказать какое-нибудь недоверие и ответил Маргарите, что не хочу знать, что она пишет, хотя был уверен, что это письмо откроет мне истинную причину ее грусти.

На следующий день была прекрасная погода. Маргарита предложила мне покататься на лодке и заехать на остров Круасси, Она была очень весела все время. Мы вернулись в пять часов.

– Мадам Дювернуа приезжала, – сказала Нанина, увидев нас.

– Она уже уехала? – спросила Маргарита.

– Да, в нашей коляске. Она сказала, что барыня так приказала.

– Отлично, – сказала Маргарита весело, – пускай подадут на стол.

Через два дня было получено письмо от Прюданс. В продолжение двух недель у Маргариты не было припадков необъяснимой меланхолии, за которые она все время передо мной извинялась.

Между тем коляска не возвращалась.

– Почему Прюданс не присылает тебе твоего экипажа? – спросил я однажды.

– Одна из лошадей заболела, а экипаж нужно починить. Лучше пускай это будет сделано, пока мы здесь, ведь экипаж нам не нужен, пока мы не вернемся в Париж.

Прюданс приехала через несколько дней и подтвердила слова Маргариты.

Обе женщины прогуливались вдвоем по саду, и, когда я подошел к ним, они переменили разговор.

Вечером, перед отъездом, Прюданс жаловалась на холод и попросила у Маргариты ее шаль.

Прошел целый месяц. Маргарита была весела и мила, как никогда.

Однако экипаж не возвращался, шаль тоже, все это меня интриговало. Я знал, в каком ящике Маргарита хранила письма Прюданс, воспользовался той минутой, когда она была в саду, побежал к этому ящику и пытался его открыть, но тщетно: он был заперт на ключ.

Тогда я начал рыться в тех ящиках, где лежали обыкновенно ее драгоценности. Эти ящики нетрудно было открыть, но футляры исчезли, само собой разумеется, со своим содержимым.

Страх сжал мне сердце.

Я хотел было потребовать у Маргариты объяснения этих исчезновений, но побоялся, что она не откроет мне истинной причины.

– Дорогая Маргарита, – сказал я, – пожалуйста, позволь мне поехать в Париж. У меня на квартире не знают, где я нахожусь, а там, наверное, есть письма от отца. Он, вероятно, беспокоится, и я должен ему ответить.

– Поезжай, мой друг; но возвращайся пораньше.

Я уехал.

И сейчас же направился к Прюданс.

– Послушайте, – начал я без обиняков, – скажите мне откровенно, где лошади Маргариты?

– Проданы.

– Шаль?

– Продана.

– Бриллианты?

– Заложены.

– Кто продавал и закладывал?

– Я.

– Почему вы меня не предупредили об этом?

– Потому что Маргарита мне запретила.

– А почему вы у меня не попросили денег?

– Потому что она не хотела.

– А на что пошли эти деньги?

– На уплату долгов.

– У нее много долгов?

– Около тридцати тысяч франков. Ах, мой друг, разве я вам этого не предсказывала? Вы не хотели мне поверить, ну вот теперь вы сами убедились. Обойщик, которому герцог поручился, был выгнан, когда он явился к герцогу, и получил на следующий день письмо, что герцог ничего не намерен делать для мадемуазель Готье. Этот человек потребовал денег, и ему дали в счет долга те несколько тысяч франков, которые я брала у вас, потом «добрые» люди уведомили его, что его должница брошена герцогом и живет с бедняком, другие кредиторы также были предупреждены об этом, потребовали денег и наложили арест. Маргарита хотела все продать, но было уже поздно, да к тому же и я восстала против этого. Нужно было все-таки платить, и, чтобы не просить у вас денег, она продала своих лошадей, шали, заложила драгоценности. Хотите расписки покупателей и квитанции из ломбарда?

И Прюданс открыла ящик и показала мне бумаги.

– Вы видите, – продолжала она с настойчивостью женщины, которая может сказать: «Я была права!» – Вы думали, что нужно только любить друг друга и вести в деревне идиллическую жизнь? Нет, мой друг, нет. Рядом с идеальной жизнью есть другая, материальная, и самые чистые решения несвободны от железных пут необходимости. Маргарита не изменяла вам ни разу только потому, что она исключительная натура. Я ей давала хорошие советы, мне было больно видеть, как она лишается всего. Она не захотела! Ответила мне, что любит вас и ни за что на свете не об-

манет вас! Все это очень мило, очень поэтично, но этим не удовлетворишь кредиторов, а теперь ей необходимо по крайней мере тридцать тысяч франков, чтобы выпутаться, повторяю вам это.

– Хорошо, я дам эту сумму.

– Вы займете?

– Да, конечно.

– Нечего сказать, придумали. Вы поссоритесь с отцом, запутаете свои дела, да и не так-то легко найти тридцать тысяч франков. Поверьте мне, милый Арман, я лучше знаю женщин, чем вы, не делайте этой глупости, в которой вы когда-нибудь раскаетесь. Я не говорю вам, бросьте Маргариту, но живите с ней так, как вы жили в начале лета. Предоставьте ей найти выход из создавшегося положения. Герцог со временем вернется к ней. Граф N. говорил мне еще вчера, что, если она согласна, он заплатит все ее долги и будет ей давать пять-шесть тысяч франков каждый месяц. У него двести тысяч годового дохода. Это будет известное положение для нее, тогда как вы все-таки будете вынуждены бросить ее. Не нужно ждать, пока вы разоритесь, тем более что граф N. дурак и ничто вам не мешает быть любовником Маргариты. Она поплачет немного вначале, но в конце концов привыкнет и поблагодарит вас за то, что вы сделали. Представьте себе, что Маргарита замужем и обманывает мужа, вот и все. Я все это уже говорила вам, но тогда это был только совет, а теперь – необходимость.

Прюданс была совершенно права.

– Вот в этом все горе, – продолжала она, запирая бумаги, которые мне показывала, – кокетки всегда могут ждать, что их полюбят, но никогда не предчувствуют, что они сами полюбят, иначе они откладывали бы деньги и в тридцать лет могли позволить себе роскошь иметь бесплатного любовника. Ах, если бы я знала раньше то, что знаю теперь! Не говорите ничего Маргарите и привезите ее в Париж. Вы прожили с ней четыре или пять месяцев в полном одиночестве, это ведь нужно ценить, а теперь закройте глаза, и больше от вас ничего не потребуется. Через две недели она возьмет графа N. Зимой будет бережлива, а летом вы опять можете повторить все сначала. Вот как нужно жить, мой друг!

Прюданс была очень довольна своим советом. Я его отверг с негодованием.

Мне не позволяли так поступить не только моя любовь и чувство собственного достоинства, но и уверенность, что в теперешнем своем настроении Маргарита скорее умрет, чем допустит это разделение.

– Перестаньте шутить, – сказал я Прюданс, – скажите мне окончательно: сколько денег нужно Маргарите?

– Я вам уже сказала, тридцать тысяч франков.

– А когда нужна эта сумма?

– Не позднее чем через два месяца.

– Она ее получит.

Прюданс пожала плечами.

– Я вам дам эти деньги, – продолжал я, – но вы мне поклянетесь, что не скажете Маргарите, что я вам их дал.

– Будьте спокойны.

– А если она вам даст еще что-нибудь заложить или продать, предупредите меня.

– Этого нечего бояться, у нее больше ничего нет.

Я зашел к себе на квартиру, чтобы посмотреть, нет ли вестей от отца.

И нашел четыре письма.

XIX

В трех первых письмах отец беспокоился и спрашивал о причинах моего молчания, в последнем он намекал мне, что ему известна перемена в моей жизни, и писал, что скоро приедет.

Я всегда питал большое уважение и искреннюю привязанность к отцу. Я ответил ему, что причиной моего молчания было небольшое путешествие, и просил предупредить меня о дне его

приезда, чтобы я мог его встретить.

Я дал слуге свой деревенский адрес и велел доставить мне письмо, помеченное штемпелем С., потом уехал в Буживаль.

Маргарита меня ждала у калитки сада. Ее взгляд выражал беспокойство. Она бросилась мне на шею и не могла удержаться от вопроса:

– Ты видел Прюданс?

– Нет.

– Ты долго пробыл в Париже.

– Я получил письма от отца и должен был на них ответить.

Через несколько минут, запыхавшись, вошла Нанина. Маргарита встала и отвела ее в сторону.

Когда та ушла, Маргарита спросила, садясь рядом со мной и беря меня за руку:

– Зачем ты меня обманул? Ты был у Прюданс.

– Кто это тебе сказал?

– Нанина.

– А откуда она знает?

– Она следила за тобой.

– Ты ей велела следить за мной?

– Да. Я подумала, что только очень важная причина могла заставить тебя поехать в Париж, после того как ты не расставался со мной в течение четырех месяцев. Я боялась, что с тобой случилось какое-нибудь большое несчастье или что ты поехал на свидание с другой женщиной.

– Дитя!

– Теперь я успокоилась, я знаю, что ты делал, но я еще не знаю, что ты узнал там.

Я показал Маргарите письма отца.

– Я не об этом тебя спрашиваю. Мне интересно знать, зачем ты был у Прюданс.

– Чтобы повидаться с ней.

– Ты лжешь, мой друг.

– Ну, так я был у нее, чтобы узнать, что слышно с лошадыо и нужны ли ей твои драгоценности и шали.

Маргарита покраснела, но ничего не ответила.

– И я узнал, – продолжал я, – что ты сделала с твоими лошадыо, бриллиантами и шальями.

– Ты сердишься на меня?

– Я сержусь на тебя за то, что ты не попросила у меня то, что тебе было нужно.

– При таких отношениях, как наши, если женщина имеет хоть немного чувства собственного достоинства, она должна приложить все свои усилия к тому, чтобы не требовать денег у своего любовника и не придавать корыстный характер своей любви. Ты меня любишь, я в этом уверена, но ты не знаешь, как непрочно любовь к таким женщинам, как я. Кто знает, может быть, в тот день, когда тебе станет не по себе или скучно, ты начнешь искать какой-нибудь особый расчет в основе нашей связи. Прюданс – болтушка! Зачем мне нужны были лошади? Я поступила очень разумно, продав их! Я отлично могу обойтись без них и не буду тратиться на их содержание. Только бы ты меня любил, больше мне ничего не надо, а ты меня будешь любить и без лошадей, без шалей и без бриллиантов.

Все это было сказано так просто, что слезы выступили у меня на глазах, когда я ее слушал.

– Дорогая моя, – ответил я, горячо сжимая руки моей возлюбленной, – ты отлично знала, что в один прекрасный день я узнаю о твоей жертве и найду, что предпринять.

– Почему?

– Потому, дорогая моя, что я не хочу, чтобы твоя любовь ко мне лишила тебя какой-нибудь драгоценности. Я также не хочу, чтобы в тот день, когда тебе станет не по себе или скучно, ты могла подумать, что, если бы ты жила с кем-нибудь другим, этих минут не было бы, и чтобы ты хоть на одну секунду в этом раскаялась. Через несколько дней твои лошади, бриллианты и шали

будут у тебя. Они тебе так же необходимы, как воздух, и, может быть, это смешно, но я больше люблю тебя одетой пышно, чем простенько.

– Значит, ты меня не любишь больше.

– Глупенькая!

– Если бы ты меня любил, ты не мешал бы мне любить тебя по-своему, но ты видишь во мне только женщину, которой необходима вся эта роскошь, и считаешь себя обязанным оплачивать эту роскошь. Ты стыдишься принять доказательства моей любви. Невольно ты все время думаешь о том моменте, когда меня бросишь, и стараешься быть вне всяких подозрений. Ты прав, мой друг, но я ждала не этого.

Маргарита хотела встать, но я удержал ее и сказал:

– Я хочу, чтобы ты была счастлива и чтобы тебе не в чем было меня упрекать, вот и все.

– И мы расстанемся!

– Почему, Маргарита? Кто может нас разлучить? – воскликнул я.

– Ты, раз ты не позволяешь мне войти в твое положение и считаешь своим долгом охранять мое; ты, раз ты хочешь мне сохранить роскошь, среди которой я жила, а следовательно, и моральную пропасть, которая нас разделяет; ты, раз ты не веришь моей бескорыстной любви и не хочешь счастливо прожить со мной на те средства, которые у тебя есть, и предпочитаешь разориться, как раб смешного предрассудка. Неужели ты думаешь, что экипаж и драгоценности и твоя любовь для меня равноценны? Неужели ты думаешь, что я не могу жить без этой мишуры, которая радует, когда никого не любишь, и делается противной, когда полюбишь? Ты заплатишь мои долги, истратишь свои деньги и будешь меня содержать! Но сколько времени это может продолжаться? Два, три месяца, а тогда уже поздно будет начать новую жизнь, тогда ты должен будешь все брать у меня, а этого не может сделать уважающий себя мужчина. Теперь у тебя есть восемь – десять тысяч ливров в год, на которые мы можем жить. Я продам лишние вещи, и одна эта продажа даст мне две тысячи ливров годового дохода. Мы найдем хорошенькую квартирку и будем жить вместе. Лето мы будем проводить в деревне, не так, как в этом году, а в маленьком домике, на двух человек. Ты самостоятелен, я свободна, оба мы молоды. Умоляю тебя всем святым, Арман, не заставляй меня вести жизнь, которую я должна была вести раньше.

Я ничего не мог ответить. Слезы благодарности и любви застилали мне глаза, и я бросился в объятия Маргариты.

– Я хотела, – продолжала она, – все устроить без тебя, заплатить все свои долги и подыскать новую квартиру. В октябре мы вернулись бы в Париж, и тогда ты узнал бы все, но раз Прюданс тебе все рассказала, ты должен дать свое согласие теперь, а не после. Достаточно ли ты меня любишь для этого?

Я не в силах был противиться такой привязанности, с жаром поцеловал Маргарите руки и сказал:

– Я сделаю все, что ты хочешь.

Итак, ее план был принят.

Она сразу повеселела: танцевала, пела, радовалась будущей новой простой квартире и советовалась со мной, где ее искать.

Она была счастлива и горда этим решением, которое окончательно должно было нас сблизить.

Я тоже не хотел от нее отставать.

Одним взмахом пера я решил свою судьбу и передал Маргарите ренту, которую унаследовал от матери и которая была в моих глазах слишком незначительна, чтобы возместить приносимую мне жертву.

У меня оставалось еще пять тысяч годового дохода, который я имел от отца, и, как бы ни сложились обстоятельства, мне всегда хватило бы этих денег.

Я не сообщил Маргарите о своем решении, убежденный, что она откажется от этого дара.

Эту ренту я получал с закладной в шестьдесят тысяч на дом, которого я никогда не видел. Я знал только, что каждые три месяца нотариус отца, старый друг нашей семьи, передавал в мое

распоряжение семьсот пятьдесят франков.

В тот день, когда мы с Маргаритой поехали в Париж искать квартиру, я отправился к нотариусу и спросил, что нужно сделать для того, чтобы передать другому человеку свою ренту. Он подумал, что я разорился, и спросил о причине этого решения. И так как рано или поздно я должен был сказать ему, кому я делаю этот дар, то предпочел сразу сказать ему всю правду.

Он мне ничего не возразил, хотя звание нотариуса и друга семьи давало ему на это право, и сказал мне, что постарается устроить все как можно лучше.

Я просил его, конечно, о соблюдении строжайшей тайны перед отцом и пошел за Маргаритой, которая меня ждала у Жюли Дюпре. Она предпочла зайти к ней, чем пойти выслушивать нравоучения Прюданс.

Мы принялись за поиски квартиры. Все те, которые мы видели, Маргарита находила слишком дорогими, а я – слишком простыми. Наконец, мы нашли подходящую: в самой тихой части Парижа маленький флигелек, отделенный от главного дома. Позади него был окруженный высоким забором прелестный сад, который отделял нас от соседей, но вместе с тем не закрывал вид на окрестности. Лучшего мы и желать не могли.

Я отправился к себе, чтобы отказаться от квартиры, а Маргарита пошла к поверенному, который уже делал как-то раз для ее знакомой то, что теперь нужно было сделать для нее.

Мы встретились у Прюданс. Маргарита была в восторге. Этот поверенный обещал ей уплатить все долги, выдать в этом расписку и передать ей еще двадцать тысяч франков от продажи обстановки.

Вы видели по тем ценам, которые были на аукционе, что он еще заработал бы на своей клиентке тысяч тридцать.

Мы уехали веселые в Буживаль и продолжали обмениваться планами на будущее, которое нам рисовалось в самых радужных красках благодаря нашей беззаботности и особенно нашей любви.

Неделю спустя мы сидели за завтраком, когда Нанина доложила, что меня ждет мой слуга.

Я велел позвать его.

– Барин, – сказал он, – ваш батюшка приехал в Париж и просит вас сейчас же пожаловать на вашу квартиру.

В этом сообщении не было ничего удивительного, но мы с Маргаритой переглянулись. Нам почудилось в нем несчастье.

Она мне ничего не сказала о своем впечатлении, но я понял и ответил пожатием руки.

– Не бойся ничего, – сказал я.

– Возвращайся поскорее, – шептала Маргарита, целуя меня, – я буду ждать тебя у окна.

Я послал Жозефа вперед сказать отцу, что я сейчас приеду, через два часа я был на улице Прованс.

XX

Отец в халате сидел в моей гостиной и писал.

По тому, как он взглянул на меня при моем появлении, я понял, что мне предстоит серьезный разговор. Однако я поздоровался с ним так, как будто ничего не прочел у него в глазах.

– Когда вы приехали, батюшка?

– Вчера вечером.

– Вы остановились, как и всегда, у меня?

– Да.

– Мне очень жаль, что я не мог вас встретить.

Я ждал сейчас же после этих слов нравоучения, которое читал на холодном, лице отца, но он ничего не ответил, запечатал письмо и велел Жозефу отправить его на почту.

Когда мы остались одни, отец встал и сказал, прислонившись к камину:

– Нам предстоит, милый Арман, очень серьезный разговор.

– Я слушаю вас, батюшка.

– Ты мне обещаешь быть откровенным?

– Как всегда.

– Правда ли, что ты живешь с Маргаритой Готье?

– Да.

– Ты знаешь, кто эта женщина?

– Кокотка.

– Из-за нее ты не приехал погостить к нам с сестрой?

– Да, батюшка.

– Ты очень любишь эту женщину?

– Вы сами видите, батюшка, раз я мог не исполнить своей священной обязанности, в чем я теперь прошу у вас смиренно прощения.

Отец, по-видимому, не ждал от меня таких категорических ответов, он подумал немного и сказал:

– Надеюсь, ты понимаешь, что нельзя всю жизнь так жить.

– Я боюсь этого, батюшка, но не согласен с этим.

– Но вы должны были подумать, – продолжал отец более сухим тоном, – что я этого не допущу.

– Я полагал, что, пока не делаю ничего такого, что может бросить тень на ваше имя и фамильную честь, могу жить так, как живу, и это меня немного успокаивало.

Страсть закаляет. Я был готов на какую угодно борьбу, даже с отцом, лишь бы сохранить Маргариту.

– Ну, теперь, пора положить этому конец.

– Почему, батюшка?

– Потому, что ваше теперешнее поведение оскорбляет фамильную честь, которой вы дорожите, по вашим словам.

– Я не понимаю ваших слов.

– Я объяснюсь. Я ничего не имею против того, что у вас есть любовница и что вы ей платите. Всякий порядочный человек обязан оплачивать любовь подобной женщины, но вы забываете для нее все святые чувства, вы допускаете, чтобы слухи о вашей распутной жизни доходили до моего дома и бросали тень на честное имя, которое я вам дал. Этого не должно быть, и этого я не допущу.

– Позвольте вам заметить, батюшка, что те, кто вам дал подобные сведения на мой счет, сами плохо осведомлены. Я – любовник мадемуазель Готье, живу с ней, – и в этом нет ничего предосудительного. Я не даю мадемуазель Готье имени, которое я получил от вас, трачу на нее столько, сколько позволяют мои средства, я не сделал ни одного долга и, наконец, не попадал ни разу в такое положение, которое могло бы дать отцу право сказать своему сыну то, что вы мне говорите.

– Отец всегда имеет право указать своему сыну, что он стоит на дурной дороге. Вы еще не сделали ничего дурного, но вы можете сделать.

– Батюшка!

– Сударь, я лучше вас знаю жизнь. Чистые чувства бывают только у безупречно чистых женщин. Всякая Манон может создать Де Грие, а времена и нравы переменились. Мы не должны повторять старых ошибок. Я требую, чтобы вы бросили вашу любовницу.

– Мне очень жаль, что я не могу вас послушаться, батюшка, это невозможно.

– Я вас заставляю.

– К несчастью, батюшка, не существует больше островов святой Маргариты, куда можно было ссылат куртизанок, а если бы такой остров существовал, я бы поехал туда за мадемуазель Готье, если бы вам удалось ее туда сослать. Ничего не поделаешь: может быть, я и не прав, но я могу быть счастлив только с этой женщиной.

– Послушайте, Арман, откройте глаза, ведь перед вами отец, который вас всегда любил и желал счастья. Неужели вы можете жить как с женой с женщиной, которая принадлежала всем?

– Ну так что ж, батюшка? Теперь она никому больше не будет принадлежать, теперь она меня любит, ее переродила любовь ко мне и моя любовь к ней. Да, это обращение свершилось.

– Неужели вы думаете, что обращение куртизанок – задача порядочного человека? Неужели вы думаете, что Бог поставил такую нелепую задачу перед вами и что ваше сердце не должно иметь других влечений? Какой будет конец этого чудесного обращения и как вы будете относиться к вашим теперешним словам в сорок лет? Вы посмеетесь над своей любовью, если сумеете посмеяться и если она не оставит слишком глубоких следов в вашем прошлом. Что было бы теперь с вами, если бы ваш отец держался таких же взглядов, как вы, и отдавался любовным приключениям, вместо того чтобы строить свою жизнь прочно, на основе порядочности и приличия. Подумайте, Арман, и не говорите больше глупостей. Умоляю вас, бросьте эту женщину.

Я ничего не ответил.

– Арман, – продолжал отец, – заклинаю вас именем вашей святой матери, бросьте эту жизнь, которую вы забудете скорее, чем думаете, и с которой вас связывает необычная теория. Вам двадцать четыре года, подумайте о будущем. Вы не всегда будете любить эту женщину, и она тоже не всегда будет вас любить. Вы оба преувеличиваете вашу любовь. Вы губите свою карьеру. Еще один шаг, и вы навеки останетесь на этом пути и всю свою жизнь будете мучиться. Уезжайте, проведите месяц-два с вашей сестрой. Отдых и семейная обстановка скоро излечат вас от этой лихорадки, иначе этого нельзя назвать. Тем временем ваша любовница утешится, возьмет другого любовника, и, когда вы увидите, ради кого вы собирались порвать с вашим отцом и потерять его любовь, вы сами скажете, что я должен был за вами приехать, и благословите меня. Не правда ли, Арман, ты поедешь?

Я чувствовал, что мой отец прав по отношению ко всем женщинам, но я был убежден, что он не прав по отношению к Маргарите. Однако его последние слова были сказаны так кротко, так умоляюще, что я ничего не мог ему ответить.

– Ну? – сказал он растроганным голосом.

– Нет, батюшка, я ничего не могу вам обещать, – сказал я наконец. – Я не в силах выполнить вашу просьбу. Поверьте, – продолжал я, видя, что он делает нетерпеливое движение, – вы преувеличиваете последствия этой связи. Маргарита не такая девушка, как вы думаете. Эта любовь не только не толкает меня на дурную дорогу, но, напротив, она порождает во мне самые благородные чувства. Истинная любовь всегда делает человека лучше, какая бы женщина ни внушала эту любовь. Если бы вы знали Маргариту, вы бы поняли, что я не подвергаюсь никакой опасности. Она самая благородная женщина на свете. Насколько другие женщины корыстны, настолько бескорыстна она.

– Однако это не мешает ей принять все ваше состояние, ибо шестьдесят тысяч франков, полученные вами от вашей матери и которые вы ей отдаете, запомните это хорошенько, составляют все ваше состояние.

Отец сохранил под конец это обвинение и эту угрозу, чтобы нанести мне последний удар. Но перед его угрозами я чувствовал себя сильнее, чем перед его просьбами.

– Кто вам сказал, что я намерен передать ей эти деньги?

– Мой нотариус. Он честный человек и не мог совершить этот акт, не предупредив меня. Я приехал в Париж, чтобы не дать вам разориться по милости распутной девчонки. Ваша мать, умирая, оставила вам деньги на честную жизнь, а не на подарки вашим любовницам.

– Клянусь вам, батюшка, Маргарита ничего не знала об этом!

– Зачем же вы это делали?

– Потому, что та женщина, которую вы так обвиняете и бросить которую вы меня просите, пожертвовала всем, чтобы жить со мной.

– И вы приняли эту жертву? Какое вы имеете право позволять мадемуазель Готье жертвовать чем-либо ради вас? Теперь конец. Вы бросите эту женщину! Только что я просил вас об этом, теперь я вам приказываю. Я не потерплю такой грязи у себя в семье. Укладывайтесь и готовьтесь к

отъезду.

– Простите, отец, – сказал я, – но я не поеду.

– Почему?

– Потому, что я уже вышел из возраста, когда слушаются приказаний.

Отец побледнел при этом ответе.

– Отлично, – произнес он, – теперь я знаю, как мне быть.

Он позвонил. Вошел Жозеф.

– Перевезите мои вещи в гостиницу «Париж», – сказал он моему слуге.

И прошел в комнату, где переодевался. Когда он вышел, я подошел к нему.

– Обещайте мне, отец, – сказал я, – не делать никакой неприятности Маргарите.

Отец остановился, посмотрел на меня с презрением и сказал:

– Вы, кажется, с ума сошли.

Затем он вышел, сильно хлопнув дверью. Я тоже вышел, взял экипаж и отправился в Буживаль. Маргарита ждала меня у окна.

XXI

– Наконец-то ты пришел! – воскликнула она, бросаясь мне на шею. – Как ты бледен!

Тогда я ей рассказал о разговоре с отцом.

– Ах, Боже, я так и думала, – сказала она. – Когда Жозеф появился с известием о приезде твоего отца, я задрожала, как будто узнала о каком-нибудь несчастье. Бедный друг, это я причинила тебе такую неприятность. Может быть, для тебя будет лучше бросить меня и не порывать с отцом. Но ведь я ему ничего не сделала. Мы живем очень тихо, а будем жить еще тише. Он сам знает, что тебе нужна любовница, и должен быть счастлив, что ты встретил меня, ведь я тебя люблю и не предъявляю чрезмерных требований. Ты ему открыл наши дальнейшие планы?

– Да, и это его больше всего сердит, потому что в нашем решении он видит доказательство нашей взаимной любви.

– Что же теперь делать?

– Оставаться вместе, дорогая моя, и дать пройти грозе.

– Пройдет ли она?

– Наверное.

– Но твой отец не остановится на этом!

– Что же он будет делать?

– Откуда мне знать? Все, что может сделать отец, чтобы заставить сына послушаться. Он тебе напомнит мое прошлое и, весьма возможно, придумает какую-нибудь новую историю, чтобы ты меня бросил.

– Ты отлично знаешь, что я люблю тебя.

– Да, но я знаю также, что рано или поздно тебе придется послушаться отца и в конце концов он тебя сумеет убедить.

– Нет, Маргарита, я сумею убедить его. Вероятно, происки его друзей вызвали у него такой гнев, но он добр, справедлив, он откажется от своего первоначального мнения. К тому же что мне за дело до всего этого!

– Не говори этого, Арман. Я не хочу тебя ссорить с семьей, возвращайся завтра в Париж. Твой отец обдумает положение вещей, ты, со своей стороны, тоже подумаешь, и, может быть, вы придете к какому-нибудь соглашению. Не спорь с ним, сделай вид, что согласен на некоторые уступки, не настаивай так на привязанности ко мне, и он оставит все по-старому. Не теряй надежды, мой друг, и в одном будь уверен: что бы ни случилось, твоя Маргарита тебе не изменит.

– Ты клянешься мне в этом?

– Тебе нужна моя клятва?

Как приятно дать себя успокоить любимому человеку! Весь остальной день мы провели в

разговорах о наших планах, как будто поняли необходимость поскорее их привести в исполнение. Каждое мгновение мы ждали нового происшествия, но, по счастью, день закончился благополучно.

На следующий день я уехал утром в десять часов, а около двенадцати был в гостинице.

Отца не было дома.

Я пошел на свою квартиру, надеясь застать его там. Но никто не приходил. Я пошел к нотариусу. Никого!

Вернулся в гостиницу и ждал до шести часов. Господин Дюваль не возвращался.

Я отправился в Буживаль.

Маргариту я застал уже не у окна, как вчера, а перед камином.

Она так задумалась, что не заметила моего прихода. Когда я поцеловал ее в лоб, она вздрогнула, как будто этот поцелуй ошеломил ее.

– Ты испугал меня, – сказала она. – Ну, что твой отец?

– Я его не видел. Я не знаю, что это значит. Я не застал его ни в гостинице, ни в других местах, где он мог быть.

– Ну, так завтра ты должен будешь снова его поискать.

– Мне хочется, чтобы он послал за мной. Мне кажется, я сделал все, что мог.

– Нет, мой друг, этого мало, завтра тебе нужно обязательно поехать к отцу.

– Почему завтра, а не в другой день?

– Потому что, – сказала Маргарита, как будто немного покраснев при этом вопросе, – потому что твоя настойчивость проявится сильнее и от нее будет зависеть скорость нашего прощения.

Весь остальной день Маргарита была очень озабочена, рассеянна, печальна. Я должен был по два раза повторять ей вопрос, чтобы получить ответ. Она объясняла эту озабоченность опасениями за будущее, которые ей внушали последние события.

Всю ночь я старался ее успокоить. На следующее утро она так настойчиво заставляла меня уехать, что я никак не мог понять причины.

Как и накануне, отца не было дома, но, уходя, он оставил мне записку:

«Если вы приедете сегодня со мной повидаться, подождите меня до четырех часов. Если я не вернусь к четырем, приходите завтра ко мне обедать: мне необходимо с вами поговорить».

Я подождал до назначенного часа. Отца не было. Я уехал.

Накануне Маргарита была печальна, в этот день она была лихорадочно возбуждена. Увидев меня, она бросилась мне на шею и долго плакала в моих объятиях.

Я спросил ее о причине этого неожиданного горя, взрыв которого меня испугал. Она мне не назвала никакой определенной причины и придумывала всевозможные отговорки, которые только может привести женщина, чтобы скрыть правду.

Когда она немного успокоилась, я рассказал ей о результатах поездки, потом показал письмо отца, обратив внимание на то, что мы могли его благоприятно истолковать.

Увидев это письмо и услышав мое толкование, она снова зарыдала. Я подозвал Нанину. Опасаясь нервного припадка, мы уложили в постель бедняжку, которая не переставая плакала и, крепко сжав мои руки, поминутно их целовала.

Я спросил Нанину, не получала ли Маргарита в мое отсутствие писем и не приходил ли кто-нибудь к ней, чтобы как-то объяснить ее состояние, но Нанина ответила мне, что никто не приходил и ничего не приносили. Для меня было ясно, что со вчерашнего дня произошло что-то важное, что Маргарита скрывала от меня.

Вечером она была немного спокойнее и, усадив меня у себя в ногах, снова начала уверять в своей любви. Потом она улыбнулась, но с усилием, потому что помимо ее воли слезы все время застилали ей глаза.

Я употребил все средства, чтобы заставить ее открыть истинную причину печали, но она все

время давала уклончивые объяснения, о которых я вам уже говорил.

В конце концов она заснула у меня на руках, но тяжелым сном – он не дает успокоения, от него наливается усталостью все тело, – время от времени Маргарита вскрикивала, внезапно просыпалась и, убедившись, что я около нее, заставляла меня клясться в любви.

Я ничего не понимал в этих взрывах отчаяния, которые продолжались до утра. Под утро Маргарита забылась сном. Но этот отдых был непродолжителен. Часов в одиннадцать она проснулась и, увидев меня на ногах, воскликнула:

- Ты уже уходишь?
- Нет, – сказал я, взяв ее руку, – я хотел дать тебе поспать. Еще рано.
- Ты когда поедешь в Париж?
- В четыре часа.
- Так рано? А до тех пор ты останешься со мной?
- Конечно, как всегда.
- Какое счастье! Будем завтракать? – продолжала она с рассеянным видом.
- Как хочешь.
- А потом ты будешь меня целовать до самого отъезда.
- Да, и я постараюсь вернуться как можно раньше.
- Ты вернешься? – спросила она, странно посмотрев на меня.
- Конечно.

– Да, да, ты вернешься вечером, я буду тебя дожидаться, как всегда, и ты меня не разлюбишь, и мы будем все так же счастливы.

Все это она говорила прерывающимся голосом: ее угнетала все время какая-то тяжелая мысль, и я каждую минуту боялся, что она потеряет сознание.

– Послушай, – сказал я, – ты больна, я не могу тебя оставить в таком состоянии. Я напишу отцу, чтобы он меня не ждал.

– Нет, нет! – воскликнула она внезапно. – Не делай этого. Твой отец скажет, что я помешала тебе пойти к нему, когда он вызвал тебя. Нет, нет, ты должен пойти, ты должен! Я вовсе не больна, я чувствую себя прекрасно. Мне приснился дурной сон, и поэтому я проснулась в дурном настроении.

С той минуты Маргарита старалась казаться веселой. Она не плакала.

Когда наступил час моего отъезда, я поцеловал ее и спросил, не хочет ли она проводить меня до станции: я надеялся, что прогулка ее рассеет и пребывание на воздухе будет ей полезно. Кроме того, мне хотелось подольше побыть с ней.

Она согласилась, взяла пальто и пошла вместе с Наниной, чтобы не возвращаться одной.

Я несколько раз хотел вернуться с ней вместе домой. Но я надеялся скоро вернуться, боялся снова рассердить отца и сел в поезд.

– До вечера, – сказал я Маргарите, прощаясь с ней.

Она ничего не ответила.

Так один раз уже было. Однажды она мне ничего не ответила на подобную фразу, и, вы помните, граф Г. провел у нее ночь. Но это время было так далеко в прошлом, что оно как бы стерлось в моей памяти, и теперь я меньше всего боялся, что Маргарита меня обманет.

Приехав в Париж, я побежал к Прюданс и хотел ее попросить поехать к Маргарите, надеясь на ее болтливость и живость характера.

Я вошел без доклада и застал Прюданс за туалетом.

– Ах, – сказала она озабоченным голосом, – Маргарита тоже с вами?

– Нет.

– Как она себя чувствует?

– Она нездорова.

– Она не приедет?!

– Разве она должна была приехать?

Мадам Дювернуа покраснела и ответила мне несколько смущенно:

– Я хотела знать, не приедет ли и она, раз вы приехали в Париж.

– Нет.

Я смотрел на Прюданс: она опустила глаза, и на ее лице я читал опасение, что мой визит затянется слишком долго.

– Я хотел вас попросить, Прюданс, если вы свободны, поехать сегодня вечером к Маргарите. Вы поболтаете с ней и можете там переночевать. Я ее никогда не видел в таком состоянии, как сегодня, и боюсь, что она заболит.

– Я должна обедать в городе, – ответила Прюданс, – и не сумею вечером повидаться с Маргаритой, но завтра я ее повидаю.

Я простился с мадам Дювернуа, которая, на мой взгляд, была почти так же озабочена, как и Маргарита, и отправился к отцу.

Он протянул мне руку и внимательно на меня посмотрел.

– Ваши два визита, Арман, меня обрадовали, – сказал он, – они мне позволяют надеяться, что вы так же одумались, как и я.

– Могу я узнать, батюшка, к каким результатам вы пришли?

– Я слишком преувеличивал значение полученных мною сведений и решил быть с тобой менее строгим.

– Что вы говорите, батюшка? – воскликнул я радостно.

– Я говорю, мой дорогой сын, что каждый молодой человек должен иметь любовницу и что, судя по тому, что я недавно узнал, я очень доволен, что твой выбор пал на мадемуазель Готье.

– Батюшка, как я счастлив!

Мы поговорили еще несколько минут, а потом сели за стол. За обедом отец все время был очень мил.

Я торопился вернуться в Буживаль и рассказать Маргарите об этой счастливой перемене. Каждую минуту я смотрел на часы.

– Ты смотришь на часы, – сказал отец, – торопишься меня покинуть. Ах, молодые люди, молодые люди! Вы всегда жертвуете искренними привязанностями привязанностям сомнительным!

– Не говорите так, батюшка, Маргарита меня любит, я в этом уверен.

Отец не ответил. Неизвестно было, верит он или не верит.

Он очень настаивал, чтобы я провел вечер с ним и остался у него ночевать, но я ему сказал, что Маргарита нездорова, и просил позволения пораньше поехать к ней, обещав ему вернуться на другой день.

Была хорошая погода, и он хотел меня проводить до вокзала. Никогда еще я не был так счастлив. Будущее представлялось мне таким, о каком я давно уже мечтал.

Я любил отца больше, чем раньше.

Когда я совсем собрался уходить, он в последний раз просил меня остаться, я отказался.

– Так ты ее очень любишь? – спросил он.

– Безумно.

– Ну так иди! – Он провел рукой по лбу, как бы прогоняя надоедливую мысль, потом открыл рот и хотел что-то сказать, но вместо этого пожал мне руку и быстро ушел со словами: – Итак, до завтра.

XXII

Мне казалось, что поезд тянется еле-еле.

Я был в Буживале в одиннадцать.

Весь дом был погружен в темноту, и я звонил безрезультатно.

Это случилось в первый раз. Наконец появился садовник. Я вошел.

Нанина меня встретила со свечой. Я прошел в комнату к Маргарите.

- Где барыня?
- Она уехала в Париж.
- В Париж?
- Да, барин.
- Когда?
- Через час после вас.
- Она вам ничего не оставила для меня?
- Ничего.
- Нанина вышла.

«Она способна поехать в Париж, чтобы посмотреть, пошел ли я действительно к отцу или только воспользовался этим предложением, чтобы иметь свободный денек. Может быть, ее вызвала Прюданс по какому-нибудь важному делу, – рассуждал я наедине с самим собой. – Но я видел Прюданс сейчас же по приезде в Париж, и она мне ничего не сказала такого, из чего можно было бы заключить, что она писала Маргарите».

Но вдруг я вспомнил о вопросе, который мне задала мадам Дювернуа: «Так, значит, она не придет сегодня?», когда я ей сказал, что Маргарита больна. Я вспомнил и о смущении Прюданс, когда я посмотрел на нее после этого вопроса, как бы намекавшего на свидание. Я вспомнил и о слезах Маргариты в течение целого дня, о которых я немного забыл у отца.

С этой минуты я начал собирать вокруг своего первого подозрения все последние происшествия и так утвердился в нем, что все им объяснял, даже снисходительность отца.

Маргарита почти требовала, чтобы я поехал в Париж, она притворилась здоровой, когда я ей предложил остаться дома. Неужели я попался в ловушку? Неужели Маргарита меня обманывала? Может быть, она рассчитывала вернуться домой рано, чтобы я не заметил ее отсутствия, и только случайность ее задержала? Почему она ничего не сказала Нанине и ничего не написала мне? Как объяснить ее слезы, отсутствие, молчание?

Я со страхом задавал себе все эти вопросы в пустой комнате, глядя на часы, которые показывали полночь и, казалось, говорили мне, что теперь уже поздно ждать возвращения моей любовницы.

Неужели после выработанного нами общего решения, после предложенной и принятой жертвы возможно было допустить, что она меня обманывала? Нет, и я постарался отбросить первое подозрение.

Бедняжка нашла покупателя на свою обстановку и поехала в Париж, чтобы заключить сделку. Она не хотела меня предупредить об этом, потому что знала, что хотя я и согласился на эту продажу, необходимую для нашего будущего счастья, но все-таки мне она неприятна, она боялась оскорбить мое самолюбие, говоря мне об этом. Она решила приехать, когда все будет кончено. По-видимому, Прюданс ее ждала по этому делу и сама себя выдала своим вопросом. Маргарита, вероятно, не окончила сделки сегодня и осталась ночевать у нее или, может быть, придет сейчас, она ведь знает, что я беспокоюсь, и не захочет долго мучить.

Но тогда из-за чего она плакала? Вероятно, несмотря на любовь ко мне, бедняжка не могла без слез расстаться с роскошью, среди которой жила до сих пор и которая делала ее счастливой и вызывала зависть у других.

Я охотно прощал Маргарите эти слезы. Я ждал ее с нетерпением, чтобы сказать, покрывая ее поцелуями, что угадал причину ее таинственного отсутствия.

Однако время шло, а Маргариты все не было.

Беспокойство мое возрастало и не давало ни о чем думать. Может быть, с ней что-нибудь случилось? Может быть, она ранена, больна, умерла? Вдруг придет посыльный и сообщит о несчастном случае? Но может наступить утро, а я по-прежнему буду пребывать в неведении!

Мысль, что Маргарита меня обманывает в тот самый час, когда я ее жду, обеспокоенный ее отсутствием, не приходила мне больше на ум. Только какая-нибудь посторонняя сила могла задержать ее, и чем больше я об этом думал, тем больше убеждался, что этой силой могло быть только несчастье. О, мужское тщеславие! Ты проявляешься во всевозможных формах.

Пробило час ночи. Я решил, что подожду еще час, но в два часа, если Маргарита не вернется, поеду в Париж.

Я взял книгу, чтобы заставить себя не думать.

«Манон Леско» лежала на столе. Мне казалось, что местами страницы были орошены слезами. Перелистав книгу, я закрыл ее, так как через завесу моих сомнений слова казались лишними.

Время подвигалось медленно. Небо было обложено. Осенний дождь хлестал в окна. Раскрытая постель казалась мне иногда могилой. На церковных часах печально пробило половину.

Теперь я уже боялся, что кто-нибудь войдет. Мне казалось, что только несчастье может меня разыскать в этот час и в этой тьме.

Пробило два часа. Я подождал еще немного. Только часы нарушали молчание своим монотонным, размеренным тиканьем.

Я ушел наконец из комнаты, где все предметы приняли печальный облик, который передается окружающей обстановке печальным одиночеством души.

В соседней комнате я застал Намину, уснувшую над работой. Когда я открыл дверь, она проснулась и спросила, вернулась ли барыня.

– Нет, но если она вернется, скажите, что я не мог справиться с беспокойством и отправился в Париж.

– Так поздно?

– Да.

– Но как? Ведь вы не найдете извозчика.

– Я пойду пешком.

– Дождь идет.

– Ну так что же?

– Барыня вернется, а если не вернется, можно утром поехать справиться, что ее задержало. Вас убьют на дороге.

– Нет никакой опасности. Нанина, прощайте.

Девушка принесла пальто, подала мне его и предложила пойти разбудить вдову Арну и узнать у нее, нельзя ли достать экипаж, но я отказался, убежденный, что потеряю на эту маловероятную попытку больше времени, чем мне нужно, чтобы пройти половину пути.

К тому же мне необходим был свежий ветер и физическое утомление, чтобы пересилить нервное возбуждение, которое меня охватило.

Я взял ключ от квартиры на улице д'Антэн и, попрощавшись с Наниной, которая проводила меня до ограды, ушел.

Сначала я бежал, но земля была вязкая, и я скоро устал. Через полчаса я должен был остановиться, так как весь был в испарине. Переведя дыхание, я продолжал идти. Ночь была такая темная, что каждую минуту я боялся наткнуться на деревья, которые вдруг вырастали передо мной, и казалось, что навстречу мне бегут огромные призраки.

Я встретил одного или двух ломовых извозчиков, которых быстро обгонял.

По направлению к Буживалю проехала коляска. Когда она миновала меня, у меня появилась надежда, что Маргарита сидит в ней.

Я остановился и крикнул:

– Маргарита! Маргарита!

Никто мне не ответил, коляска удалилась. Я продолжал свой путь.

Мне понадобилось два часа, чтобы дойти до заставы.

Вид Парижа вернул мне силы, и я побежал по длинной аллее, по которой столько раз проходил раньше. В эту ночь там никого не было. Как будто я путешествовал по мертвому городу.

Начало светать. Когда я пришел на улицу д'Антэн, город начал уже понемногу просыпаться. В церкви пробило пять часов, когда я входил в дом номер девять.

Я сказал свое имя швейцару – он получил от меня достаточно денег и знал, что я имею право приходить в пять часов к мадемуазель Готье, – и прошел без затруднения.

Я мог у него спросить, дома ли Маргарита, но он мог мне ответить отрицательно, а я предпочитал сомневаться еще две лишние минуты, так как, сомневаясь, не переставал надеяться.

Я прислушался у двери, стараясь уловить какой-нибудь шум, движение, – ничего, буживальское молчание, казалось, переселилось сюда.

Я открыл дверь и вошел.

Все занавеси были плотно задернуты. Я открыл их в столовой и направился в спальню. Я бросился к шторам и сильно потянул за шнурок. Шторы поднялись, слабый свет проник в комнату, я подбежал к постели.

Она была пуста!

Я открывал все двери одну за другой и заходил во все комнаты.

Нигде – никого. С ума можно было сойти!

Я прошел в уборную, открыл окно и несколько раз позвал Прюданс. Окно мадам Дювернуа не открывалось.

Тогда я спустился к швейцару и спросил, приходила ли мадемуазель Готье сюда днем.

– Да, – ответил он, – с мадам Дювернуа.

– Она ничего не велела мне передать?

– Ничего.

– А куда они потом отправились?

– Они сели в экипаж.

– В какой экипаж?

– Собственный.

Что все это значило?

Я позвонил у соседнего подъезда.

– Вам к кому, барин? – спросил швейцар, отворив мне дверь.

– К мадам Дювернуа.

– Ее нет дома.

– Вы наверное знаете?

– Да, барин, вот письмо для нее, оно лежит со вчерашнего вечера, и я еще его не передавал.

И швейцар показал мне письмо, на которое я машинально посмотрел.

Я узнал почерк Маргариты и взял письмо.

На конверте было сказано:

«Мадам Дювернуа для передачи господину Дювалю».

– Это для меня письмо, – сказал я швейцару и показал ему на адрес.

– Ах, вы господин Дюваль? – спросил швейцар.

– Да.

– Теперь я вас узнаю, вы часто бываете у мадам Дювернуа.

На улице я тотчас разорвал конверт.

Если бы у ног моих ударила молния, я бы не так испугался, как прочтя это письмо.

«Когда вы будете читать это письмо, Арман, я буду уже любовницей другого. Между нами все кончено.»

Возвращайтесь к отцу, мой друг, поезжайте к вашей сестре, чистой девушке, которая не знает о нашей грязи, и около нее вы забудете скоро те страдания, которые вам причинила погибшая девушка Маргарита Готье. Вы любили ее, и вам она обязана единственными счастливыми моментами своей жизни, которая, по счастью, не долго протянется».

Когда я прочел последние слова, мне показалось, что я сошел с ума.

Одно мгновение я боялся упасть на мостовую. Облако застилало мне глаза, и кровь стучала в висках.

Однако я пришел в себя, оглянулся кругом, удивленный, что жизнь по-прежнему идет дальше независимо от моего несчастья.

Я не был достаточно силен, чтобы перенести в одиночестве удар, который мне нанесла Маргарита.

Тогда я вспомнил, что отец тут, в городе, что через десять минут я могу быть около него и что он всегда разделит мою печаль.

Я побежал, как сумасшедший, как вор, в гостиницу «Париж»: ключ был в дверях комнаты отца. Я вошел.

Он читал. Судя по тому, что он почти не удивился моему приходу, можно было подумать, что он меня ждал.

Я бросился к нему в объятия и, не сказав ни слова, протянул ему письмо Маргариты и упал перед его постелью, залившись слезами.

XXIII

Когда жизнь приняла свое обычное течение, я никак не мог освоиться с мыслью, что начинающийся день не будет для меня похож на предыдущие. Временами мне казалось, что только какие-то обстоятельства, случайно забытые мною, заставили меня провести ночь не с Маргаритой, но когда я вернусь в Буживаль, я найду ее в таком же беспокойстве, в каком был я сам, и она спросит меня, почему я так долго не возвращался.

Когда жизнь создает такие отношения, как наши, эти отношения не могут порваться без того, чтобы не нарушить все другие жизненные связи.

Я должен был время от времени перечитывать письмо Маргариты, чтобы убедиться, что все это не сон.

Измощенный нравственным потрясением, я не в силах был двигаться. Беспокойство, ночная прогулка, неожиданная новость подкосили меня. Отец воспользовался этой полной расслабленностью и получил мое формальное согласие поехать с ним.

Я обещал все, что он хотел. Я был не в силах спорить и нуждался в сильной поддержке, чтобы продолжать жить после того, что случилось.

Я был счастлив уже тем, что отец хочет поддержать меня в таком горе.

Помню только, что в тот же день, часов в пять, он усадил меня в почтовую карету. Не сказав мне ни слова, велел уложить мои вещи, привязать сундуки сзади кареты и уехал вместе со мной.

Я понял, что сделал, только тогда, когда город исчез из моих глаз и пустынная дорога напомнила мне о пустоте в моем сердце. Слезы снова полились у меня из глаз.

Отец понял, что даже его слова не могут меня утешить, и дал мне выплакаться. Он не произносил ни слова, только изредка пожимал мне руку, как бы напоминая, что рядом сидит друг.

Ночью я спал. Мне снилась Маргарита. Я внезапно проснулся, не понимая, почему я в карете. Потом я вспомнил все и уронил голову на грудь.

Я не решался заговорить с отцом, боялся, что он мне скажет: «Ты видишь, я был прав, когда не верил в любовь этой женщины».

Но он не воспользовался своим положением и за всю дорогу до С. ни разу не заговаривал о том событии, которое заставило меня уехать.

Когда я здоровался с сестрой, я вспомнил слова из письма Маргариты, относившиеся к ней, но мне было ясно, что, как ни хороша была моя сестра, она не могла меня заставить забыть любовницу.

Начался сезон охоты, отец думал, что это может меня развлечь. Он устраивал охотничьи прогулки с соседями и знакомыми. Я участвовал в них без отвращения, но и без увлечения, с тем равнодушием, которое было так характерно для меня со времени моего отъезда.

Мы загоняли дичь в сеть. Меня ставили на пост, рядом со мной лежало незаряженное ружье,

и я мечтал. Я смотрел на плывущие мимо облака и давал полную свободу мыслям. Время от времени какой-нибудь охотник окликал меня и показывал зайца в десяти шагах.

Все эти подробности не ускользали от внимания отца, и его не обманывало мое внешнее спокойствие. Он отлично понимал, что, несмотря на мое подавленное состояние, у меня должен наступить сильный, может быть, даже опасный перелом. Стараясь не давать мне этого заметить, он прилагал все усилия, чтобы меня развлечь.

Моя сестра, конечно, не была посвящена во все эти события и не понимала, почему, такой веселый прежде, я стал теперь задумчив и печален.

Иногда, застигнутый врасплох в своей печали беспокойным взглядом отца, я брал его руку и пожимал ее, как бы безмолвно прося прощения за неприятность, которую я помимо своей воли ему причинил.

Так прошел месяц, но больше я не мог этого выносить.

Воспоминание о Маргарите меня постоянно преследовало. Я слишком любил эту женщину, чтобы вдруг она стала мне безразлична. Мне нужно было или любить, или ненавидеть ее. Но прежде всего, какое бы чувство я к ней не питал, мне нужно было сейчас же, немедленно ее увидеть.

Это желание родилось во мне и утвердилось со всей силой, на которую способен долго бездействовавший организм.

Мне необходимо было видеть Маргариту не когда-нибудь в будущем, не через месяц, не через неделю, а на следующий день после того, как у меня явилось желание, и я сказал отцу, что поеду по делам в Париж, но скоро вернусь.

Без сомнения, он угадал причину, побудившую меня уехать, потому что настоятельно просил не ездить, но, увидев, что неисполнение этого желания при моем тогдашнем состоянии могло иметь для меня роковые последствия, поцеловал меня и просил почти со слезами на глазах вернуться поскорей.

Я не спал всю ночь в дороге.

Что я буду делать по приезде? Я не знал, но прежде всего мне нужно было отыскать Маргариту.

Я пошел к себе на квартиру переодеться и, так как стояла прекрасная погода и еще не было поздно, отправился на Елисейские поля.

Через час я увидел еще издалека экипаж Маргариты. Она выкупила своих лошадей, и выезд был все тот же, но самой ее в карете не было.

Едва только я это заметил, как оглянулся кругом и увидел Маргариту, шедшую пешком, в сопровождении незнакомой мне женщины.

Проходя мимо меня, она побледнела, и нервная улыбка исказила ее лицо. Что касается меня, ужасное сердцебиение сотрясало мне грудь, но мне удалось придать лицу холодное выражение, и я сухо поклонился своей прежней любовнице, которая вскоре догнала экипаж и села в него с другой.

Я знал Маргариту. Неожиданная встреча со мной должна была стать для нее потрясением. Наверное, она узнала о моем отъезде и успокоилась относительно последствий нашего разрыва, но, увидев меня, встретившись со мной лицом к лицу, увидев мою бледность, она поняла, что мое возвращение преследовало определенную цель, и должна была задаться вопросом, что произойдет дальше.

Если бы я нашел Маргариту несчастной, если бы, изощренно мстя ей, я мог бы прийти к ней на помощь, я, наверное, простил бы ее и не подумал причинять ей какую-нибудь неприятность, но я встретил ее счастливой, по крайней мере с виду. Другой вернул ей роскошь, которую я не мог дать, наш разрыв, начатый ею, принимал характер самого низкого расчета, я был унижен в своем самолюбии, как и в своей любви, она должна была поплатиться за мои страдания.

Я не мог оставаться равнодушным к жизни этой женщины, но ее больше всего могло обидеть мое равнодушие. Итак, нужно было притвориться равнодушным не только в ее глазах, но и в глазах других.

Я придал лицу веселое выражение и отправился к Прюданс. Горничная пошла доложить обо мне и просила меня подождать немного в гостиной.

Мадам Дювернуа появилась наконец и провела меня в будуар. Когда я садился, я слышал, как открылась дверь в гостиную, легкие шаги скользнули по паркету и дверь с шумом захлопнулась.

– Я вам помешал? – спросил я Прюданс.

– Ничуть. Маргарита была здесь. Когда она узнала, что вы пришли, она убежала.

– Она меня боится теперь?

– Нет, но она боится, что вам неприятно ее видеть.

– Почему? – сказал я, делая усилие вздохнуть свободно – от волнения у меня сжималось горло. – Бедняжка меня бросила, чтобы вернуть свой выезд, обстановку, бриллианты, она хорошо поступила, и я не могу ничего иметь против нее. Я встретил ее сегодня, – продолжал я небрежно.

– Где? – спросила Прюданс, которая смотрела на меня и, вероятно, спрашивала себя: «Неужели это тот самый человек, который был так влюблен?»

– На Елисейских полях, она была с другой женщиной, очень красивой. Кто это?

– Как она выглядит?

– Блондинка, стройная, с буклями, синие глаза, очень изящная.

– Ах, это Олимпия. Действительно, она очень красива.

– С кем она живет?

– Ни с кем и со всеми.

– А где она живет?

– Улица Тронше... Вы собираетесь за ней поухаживать?

– Возможно.

– А Маргарита?

– Я солгу, если скажу, что не думаю о ней совсем, но я принадлежу к тем людям, которые обращают большое внимание на то, как с ними порвали. Ну, а Маргарита так легкомысленно со мной рассталась, что я считаю себя большим дураком, что был так влюблен в нее. А я был очень влюблен в эту женщину.

Вы понимаете, каким тоном я старался говорить: пот выступил у меня на лбу.

– Она вас тоже очень любила и теперь еще любит. Вот вам доказательство: встретив вас сегодня, она сейчас же пришла ко мне и рассказала об этом. Она вся дрожала и была близка к обмороку.

– Ну и что она вам сказала?

– Она мне сказала: «Он, наверное, придет к вам» – и просила меня молить вас о прощении для нее.

– Я ей простил, вы можете ей это передать. Она добрая девушка, но погибшая, я должен был предвидеть то, что она со мной сделала. Я ей даже благодарен за ее решение. Теперь я сам задаю себе вопрос, к чему нас мог привести мой план жить исключительно с ней. Это было безумие.

– Она будет очень довольна, что вы признали неизбежность ее поступка. Ей пора было расстаться с вами, мой друг. Жалкий поверенный, которому она предложила продать ее обстановку, спросил у ее кредиторов, сколько она им должна, те испугались, и через несколько дней должен был быть аукцион.

– А теперь все уплачено?

– Почти.

– Кем?

– Графом N. Ах, мой друг, есть люди, специально для этого созданные. Он дал двадцать тысяч франков и таким образом достиг своей цели. Он отлично знает, что Маргарита не любит его, но это ему ничуть не мешает быть очень милым по отношению к ней. Вы видели, он выкупил ее лошадей, драгоценности и дает ей столько денег, сколько давал герцог. Если она захочет жить спокойно, этот человек долго останется с ней.

– А что она делает? Живет в Париже?

– Она ни за что не хотела возвращаться в Буживаль после того, как вы уехали оттуда. Я сама отправилась туда за ее вещами, да и за вашими: вы можете их получить у меня, за исключением вашего маленького портфеля с монограммой. Маргарита оставила его у себя. Если хотите, я могу его потребовать у нее обратно.

– Пускай он останется у нее, – пробормотал я, чувствуя, что слезы выступают у меня на глазах при воспоминании об этой деревне, где я был так счастлив, и при мысли, что Маргарита хотела сохранить у себя мою вещь.

Если бы она вошла в эту минуту, моя решимость мстить ей испарилась бы и я упал бы к ее ногам.

– Должна признаться, – продолжала Прюданс, – Маргарита никогда не была такой, как теперь: она почти совсем не спит, разъезжает по балам, поздно ужинает и даже напивается. Недавно, после одного ужина, она провела неделю в постели, а когда доктор позволил ей встать, она снова принялась за то же, рискуя умереть. Вы зайдете к ней?

– Зачем? Я зашел к вам, потому что вы всегда ко мне хорошо относились и потому что я знал вас раньше, чем Маргариту. Благодаря вам я стал ее любовником, и вам также я обязан тем, что перестал им быть.

– Ах, Бог мой, я сделала все, что могла, чтобы она бросила вас, и уверена, что в будущем вы не будете на меня за это сердиться.

– Я вдвойне вам благодарен, – сказал я, поднимаясь.

Мне было неприятно, что Прюданс слишком серьезно принимает все мои слова.

– Вы уходите? – спросила она.

– Да.

Я узнал все, что мне было нужно.

– Когда мы опять увидимся?

– Скоро. Прощайте.

– Прощайте.

Прюданс проводила меня до дверей, я вернулся домой со злыми слезами на глазах и с жаждой мести в сердце.

Итак, Маргарита была такая же продажная женщина, как все другие. Итак, та глубокая любовь, которую она питала ко мне, не могла побороть желания вернуться к прежней жизни.

Вот что я говорил себе в бессонные ночи, но если бы я обдумал все хладнокровно, то разглядел бы за этой шумной жизнью Маргариты желание прогнать назойливые мысли, неотвязчивые воспоминания.

К несчастью, дурные страсти брали верх, и я придумывал способы помучить бедняжку.

Да, человек становится очень жалким и гадким, когда затронута какая-нибудь его страсть.

Олимпия, с которой я встретил Маргариту, была ее близкой знакомой. Она очень часто посещала ее с тех пор, как вернулась в Париж. Олимпия собиралась дать бал, и так как я рассчитывал, что Маргарита будет там, то постарался получить на этот бал приглашение.

Я приехал туда очень грустно настроенный и застал бал в полном разгаре. Много танцевали, много кричали, и во время кадрили я увидел Маргариту, танцевавшую с графом N. Весь его вид был исполнен тщеславия и, казалось, говорил: эта женщина принадлежит мне!

Я стал около печки, как раз напротив Маргариты, и смотрел, как она танцует. Стоило ей заметить меня, как она сейчас же заволновалась. Я сделал вид, что только сейчас увидел ее, и небрежно приветствовал рукой и взглядом.

Когда я вспомнил, что после бала она уедет не со мной, а с этим богатым дураком, когда я представлял себе то, что, по всей вероятности, будет, когда они приедут к ней, кровь прилиwała у меня к голове и являлось желание смутить их любовь.

После кадрили я пошел поздороваться с хозяйкой дома, которая выставляла всем напоказ великолепные плечи и ослепительную грудь.

Эта женщина была красива, по совершенству форм даже красивее Маргариты. Я понял это особенно хорошо, когда подметил взгляды, которые бросала Маргарита на Олимпию во время

нашего разговора. Человек, который станет любовником этой женщины, может гордиться не меньше графа N. Она была так красива, что могла внушить такую же страсть, как и Маргарита.

В то время у нее не было любовника. Нетрудно было стать им. Нужно было только показать достаточно золота, чтобы обратить на себя внимание. Я решился. Эта женщина должна была стать моей любовницей. Я начал добиваться своей цели и пригласил Олимпию.

Через полчаса Маргарита, бледная, как смерть, надела шубу и уехала с бала.

XXIV

И это уже меня обрадовало, но этого было мало. Я понял, какую власть имею над этой женщиной, и начал ею злоупотреблять.

Когда я вспоминаю, что она умерла, я задаю себе вопрос, простит ли мне создатель когда-нибудь зло, содеянное мною.

После ужина, очень шумного, начали играть.

Я сел рядом с Олимпией и так рискованно играл, что она невольно обратила на это внимание. В одно мгновение я выиграл полтораста или двести луидоров, выложил их перед собой, и она не сводила с них глаз. Вместе с тем одного лишь меня не захватывала игра всецело, и я мог уделять внимание Олимпии. И дальше все время я выигрывал, дал и ей денег на игру, потому что она проиграла все, что у нее было раньше, и, по всей вероятности, все, что у нее было вообще.

В пять часов все разъехались.

Я выиграл триста луидоров.

Все игроки уже ушли, я один незаметно задержался, так как не принадлежал к их кружку.

Олимпия освещала мне дорогу, но перед тем, как спуститься вниз, я подошел к ней и сказал:

– Мне нужно с вами поговорить.

– Завтра, – сказала она.

– Нет, сейчас.

– Что вам нужно?

– Узнаете.

И я вернулся в комнату.

– Вы проиграли, – сказал я.

– Да.

– Все, что у вас было?

Она колебалась.

– Будьте откровенны.

– Да, все.

– Я выиграл триста луидоров: вот они, если вы позволите мне остаться у вас. – И я бросил золото на стол.

– Почему вы мне предлагаете это?

– Потому что я вас люблю, черт возьми!

– Нет, потому, что вы влюблены в Маргариту и хотите ей отомстить, став моим любовником. Такую женщину, как я, нельзя обмануть, мой друг. К несчастью, я слишком молода и слишком красива, чтобы взять на себя ту роль, которую вы мне предлагаете.

– Так вы отказываетесь?

– Да.

– Вы предпочитаете меня любить даром? Но на это я не согласен. Подумайте, дорогая Олимпия: если бы я вам прислал через кого-нибудь эти триста луидоров на тех же условиях, вы бы приняли их. Я предпочел лично вести переговоры. Берите деньги и не доискивайтесь причины, которая меня заставляет так поступать. Ведь вы сами говорите, что красивы и что нет ничего удивительного в моей любви к вам.

Маргарита тоже была содержанка, но я никогда не решился бы сказать ей в первый же день

знакомства то, что сказал этой женщине. Маргариту я любил, а в ней угадал инстинкты, которых не было у Маргариты, и в ту самую минуту, когда я предлагал эту сделку Олимпии, она мне не нравилась, несмотря на свою выдающуюся красоту.

Конечно, она согласилась, и в полдень я ушел от нее ее любовником, но я оставил ее постель, не унося с собой воспоминаний о ласках и словах любви, которыми она считала себя обязанной меня осыпать за шесть тысяч франков, полученных от меня.

А между тем из-за нее многие разорялись.

Начиная с этого дня начались муки Маргариты. Олимпия и она перестали видеться, само собой понятно почему. Я дал своей новой любовнице экипаж, драгоценности, я играл, – словом, проделывал все глупости, свойственные человеку, влюбленному в такую женщину, как Олимпия. Слух о моей новой страсти сейчас же распространился.

Даже Прюданс поддалась на эту удочку и поверила, что я совершенно забыл Маргариту. Маргарита не то угадала причины, побуждавшие меня так поступать, не то поверила, как и остальные, но во всяком случае она с достоинством сносила обиды, которые я наносил ей каждый день. Однако она очень страдала и с каждым днем становилась все бледнее и бледнее, все печальнее и печальнее. Моя любовь к ней, перешедшая уже как бы в ненависть, наслаждалась видом этой бесконечной печали. Часто, когда я доходил до постыдной жестокости, Маргарита смотрела на меня таким умоляющим взглядом, что я краснел за свое поведение и был готов просить у нее прощения.

Но это раскаяние длилось не больше секунды. Олимпия отбросила в сторону всякое самолюбие, она поняла, что, нанося обиды Маргарите, она добьется от меня всего, и постоянно меня подстрекала против нее, пользовалась всяким случаем, чтобы надругаться над ней, с неуклонной подлостью женщины, находящейся под защитой мужчины.

Маргарита перестала бывать на балах, в театрах из опасения встретиться с нами – с Олимпией и со мной. Тогда на смену непосредственной грубости пришли анонимные письма. Не было такой гадости, которую я не заставлял бы мою любовницу рассказывать о Маргарите или сам не рассказывал бы.

Нужно было сойти с ума, чтобы дойти до этого. Я был похож на человека, опьяненного плохим вином: он перестает принадлежать себе и способен на преступления, сам того не сознавая. И все-таки я считал себя жертвой. Спокойствие без тени презрения, чувство собственного достоинства без оттенка негодования – вот чем Маргарита отвечала на все мои нападки, и это ставило ее в моих глазах гораздо выше и восстанавливало меня еще больше против нее.

Однажды вечером Олимпия где-то была и встретилась с Маргаритой. На этот раз она не пощадила глупую девушку, которая ее оскорбляла, и та должна была ретироваться. Олимпия вернулась взбешенная, а Маргариту унесли в обмороке.

Вернувшись, Олимпия сказала мне, что Маргарита, увидев ее одну, решила отомстить ей за то, что она моя любовница. Я должен был потребовать от Маргариты, чтобы она относилась с уважением к женщине, которую я люблю.

Конечно, я согласился на это, и все жестокое, все отвратительно гадкое, что я мог придумать, вложил в письмо и отправил в тот же день.

На этот раз удар оказался слишком сильный, и бедняжка не могла снести его безмолвно.

Я не сомневался, что ответ будет, и решил весь день просидеть дома.

Около двух часов позвонили и вошла Прюданс.

Я пытался придать своему лицу безразличное выражение и спросил у нее, чем я обязан ее посещению, но на этот раз мадам Дювернуа не была весело настроена. Она ответила мне серьезным тоном, что со времени моего приезда, то есть уже три недели, я пользовался всяким случаем, чтобы обидеть Маргариту. Это ее расстраивает, а вчерашняя сцена и мое сегодняшнее письмо уложили ее в постель.

Словом, Маргарита просила у меня пощады, не упрекая меня ни в чем, и признавалась, что у нее нет больше ни физических, ни моральных сил переносить мои оскорбления.

– Мадемуазель Готье, – сказал я Прюданс, – имела право меня прогнать, но я никогда ей не

позволю оскорблять женщину, которую я люблю, под предлогом, что эта женщина моя любовница.

– Мой друг, – сказала Прюданс, – вы находитесь под влиянием глупой и бессердечной девушки. Правда, вы в нее влюблены, но нельзя же из-за этого мучить женщину, которая не может защищаться.

– Пускай мадемуазель Готье пришлет своего графа N., и наши силы будут равны.

– Вы отлично знаете, что она этого не сделает. Итак, милый Арман, оставьте ее в покое. Если бы вы ее видели, вам стало бы стыдно за ваше поведение. Она бледна, кашляет и недолго проживет. – И, протянув мне руку, Прюданс добавила: – Зайдите к ней, она будет рада.

– У меня нет охоты встречаться с графом N.

– Граф N. никогда не бывает у нее. Она не выносит его.

– Если Маргарита хочет меня видеть, она знает, где я живу, пускай она придет, а я носу не покажу на улицу д'Антэн.

– А вы хорошо ее примете?

– Прекрасно.

– Отлично, я уверена, что она придет.

– Пускай приходит.

– Вы выйдете сегодня?

– Я буду дома весь вечер.

– Я передам ей.

Прюданс уехала.

Я даже не написал Олимпии, что не приду к ней. Я с ней не стеснялся. Я проводил с ней не больше одной ночи в неделю. Мне кажется, она развлекалась с каким-то актером из бульварного театра.

Я пошел обедать и сейчас же вернулся. Я велел затопить все печи и отослал Жозефа.

Не могу вам передать, какие противоположные чувства боролись во мне во время ожидания, но, когда около девяти часов я услышал звонок, все эти чувства вылились в такое сильное волнение, что я должен был прислониться к стене, чтобы не упасть, прежде чем отворить дверь.

К счастью, передняя была полуосвещена и перемена в моем лице была не так заметна.

Маргарита вошла. Она была вся в черном и под вуалью. Я едва угадывал ее черты под кружевом.

Она прошла в гостиную и подняла вуаль.

Она была бледна, как мрамор.

– Я пришла, Арман, – сказала она. – Вы хотели меня видеть, и я пришла. – И, уронив голову на руки, она разразилась слезами.

Я подошел к ней.

– Что с вами? – сказал я изменившимся голосом.

Она пожала мою руку и ничего не ответила, слезы не давали ей говорить. Но через минуту, успокоившись немного, она сказала:

– Вы меня очень обидели, Арман, а я вам ничего не сделала.

– Ничего? – спросил я, горько усмехнувшись.

– Только то, что обстоятельства вынуждали меня сделать.

Не знаю, приходилось ли вам когда-нибудь в жизни испытывать то, что я испытал, увидев Маргариту.

В последний раз, когда она была у меня, она сидела на том же самом месте, где она сидела теперь, только за это время она стала любовницей другого, другие, не мои поцелуи касались ее губ, которых невольно жаждали мои губы, и все-таки я чувствовал, что люблю эту женщину так же, а может быть, и сильнее, чем раньше.

Мне было трудно начать разговор. Маргарита поняла это, без сомнения, и сказала:

– Я пришла вас побеспокоить, Арман. У меня к вам две просьбы: простите меня за то, что я

вчера наговорила мадемуазель Олимпии, и пощадите меня в будущем. Сознательно или бессознательно, с тех пор, как вы вернулись, вы все время так меня обижаете, что теперь я была бы не в силах вынести и четверти тех волнений, которые я вынесла до сегодняшнего утра. Вы сжалитесь надо мной, не правда ли, и поймете, что для благородного человека существуют более почетные задачи, чем месть такой больной и несчастной женщине, как я. Возьмите мою руку: у меня жар, и я встала с постели только затем, чтобы просить у вас не вашей дружбы, а вашего равнодушия.

Я взял руку Маргариты. Действительно, она была горячая, а бедная женщина дрожала под своим пальто.

Я подкатил к печке кресло, в котором она сидела.

– Неужели вы думаете, что я не страдал, – сказал я, – в ту ночь, когда, прождав вас напрасно в деревне, отправился в Париж искать вас и нашел только письмо, которое чуть не свело меня с ума? Как вы могли меня обмануть, Маргарита? Ведь я вас так любил!

– Не будем говорить об этом, Арман, я не за тем пришла. Мне только не хочется видеть в вас врага, вот и все, и хотелось еще раз пожать вам руку. У вас есть любовница, молодая, красивая, которую вы любите, говорят. Будьте с ней счастливы и забудьте меня.

– И вы тоже счастливы, конечно?

– Разве у меня вид счастливой женщины, Арман? Не смейтесь над моим горем, вы ведь лучше всех знаете причины и беспредельность его.

– От вас зависело не быть несчастной, если только вы действительно несчастны, как вы говорите.

– Нет, мой друг, обстоятельства были сильнее. Я была покорна не своим инстинктам, как вы, по-видимому, думаете, а доводам, которые вы когда-нибудь узнаете и которые заставят вас меня простить.

– Почему вы не говорите мне этих доводов сегодня?

– Потому что они не в силах восстановить наши отношения и могут поссорить вас с людьми, с которыми вы не должны ссориться.

– Кто эти люди?

– Я не могу вам сказать.

– Тогда вы лжете.

Маргарита встала и направилась к двери.

При виде этого немного и вместе с тем выразительного горя я почувствовал себя растроганным. Я мысленно сравнивал эту бледную, плачущую женщину с той, которая насмеялась надо мной в оперетте.

– Вы не уйдете, – сказал я, встав перед дверью.

– Почему?

– Потому что я люблю тебя, несмотря на то, что ты мне сделала. Я не переставал тебя любить и не пушу тебя.

– А завтра прогоните меня, не правда ли? Нет, это невозможно! Наши дороги разошлись, не будем пытаться их соединять. Вы начнете, может быть, меня презирать, а теперь вы меня только ненавидите.

– Нет, Маргарита! – воскликнул я, чувствуя снова, что во мне проснулись любовь и желание. – Нет, я забуду все, и мы будем счастливы, как мы этого хотели.

Маргарита с сомнением покачала головой и сказала:

– Я ваша раба, ваша собака! Вы можете делать со мной что угодно, возьмите меня, я ваша.

Сняв пальто и шляпу, она бросила их на диван и начала быстро расстегивать лиф: у нее снова начинался припадок, кровь прилила к голове и душила ее. Раздался хриплый и сухой кашель.

– Велите кучеру, – попросила она, – ехать домой.

Я сам спустился вниз. Когда я вернулся, Маргарита лежала перед огнем и дрожала от холода. Я взял ее на руки, раздел и отнес, холодную, как лед, на свою постель, затем сел около нее и старался согреть ее своими ласками. Она ничего не говорила, только улыбалась.

Ах, это была удивительная ночь. Казалось, Маргарита вкладывала всю свою жизнь в поце-

луи, которыми она меня осыпала, и я так ее любил, что в разгар ее лихорадочной страсти задавал самому себе вопрос, не убить ли ее, чтобы никому больше не принадлежала. Месяц такой любви и тело и душу обратили бы в труп.

День застал нас бодрствующими. У Маргариты было мертвенно-бледное лицо. Она ничего не говорила. Большие слезы время от времени катились у нее из глаз и застывали на щеках, как блестящие бриллианты. Ее усталые руки иногда поднимались, чтобы обнять меня, и бессильно падали на постель.

Один момент мне казалось, что я сумею забыть то, что произошло со времени моего отъезда из Буживаля, и я сказал Маргарите:

– Хочешь, уедем, бросим Париж?

– Нет, нет, – ответила она испуганно. – Мы будем слишком несчастны, я не могу больше давать тебе счастье, но до последнего вздоха буду покорна твоим прихотям. В какой бы час дня или ночи ты меня ни пожелал, приходи и бери меня, но не связывай своего будущего с моим, ты сам будешь несчастен и меня сделаешь несчастной. Я буду еще в течение некоторого времени красива, пользуйся этим, но не проси у меня другого.

Когда она уехала, я испугался своего одиночества. После ее отъезда я просидел два часа на постели, на которой она лежала, смотрел на подушку, на которой оставалось еще углубление от ее головы, и спрашивал самого себя, где мне найти выход между любовью и ревностью.

В пять часов, сам не зная зачем, я отправился на улицу д'Антэн.

Нанина открыла мне дверь.

– Барыня не может вас принять, – сказала она смущенно.

– Почему?

– Граф П. у нее. Он приказал никого не пускать.

– Верно, – пробормотал я, – я забыл.

Я вернулся домой, как пьяный, и знаете, что я сделал в минутном припадке ревности, которого как раз хватило на постыдный поступок, знаете, что я сделал? Я решил, что эта женщина посмеялась надо мной, представил ее себе в строго охраняемом уединении с графом П., повторяющую те же слова, которые она мне говорила ночью, взял бумажку в пятьсот франков и послал ей со следующей запиской:

«Вы так поспешно уехали сегодня, что я забыл вам заплатить. Вот плата за вашу ночь».

После, когда письмо было отправлено, я вышел из дому, чтобы не чувствовать раскаяния в своей грубости.

Я пошел к Олимпии и застал ее за примеркой платьев. Когда мы остались одни, она начала мне петь скабрезные романсы, чтобы развлечь меня.

Олимпия представляла собой настоящий тип куртизанки, бесстыдной, бессердечной и глупой, по крайней мере в моих глазах. Может быть, какой-нибудь другой мужчина питал к ней такие же чувства, как я к Маргарите.

Она попросила у меня денег, я дал их ей и вернулся домой.

Маргарита мне не ответила.

К чему вам описывать мое состояние за весь день!

В половине седьмого посыльный принес конверт, в котором было мое письмо и деньги, и ничего больше.

– Кто вам это передал? – спросил я у посыльного.

– Дама. Она уезжала с горничной в почтовой карете в Булонь и велела мне отнести письмо только тогда, когда карета выедет.

Я побежал к Маргарите.

– Барыня уехала в Англию сегодня в шесть часов, – сказал мне швейцар.

Ничто меня не удерживало больше в Париже: ни ненависть, ни любовь. Я был измучен все-

ми волнениями. Один из моих друзей предпринимал путешествие на Восток. Я сказал отцу о своем желании сопровождать его, отец дал мне деньги, рекомендательные письма, и через восемь – десять дней я сел на пароход в Марселе.

В Александрии я узнал через атташе посольства, которого я встречал несколько раз у Маргариты, о ее болезни.

Я написал ей письмо, на которое она мне ответила уже в Тулон, вы видели ее ответ.

Я сейчас же поспешил вернуться, остальное вы знаете.

Теперь вы должны прочесть несколько листков, которые мне передала Жюли Дюпре и которые послужат необходимым дополнением к тому, что я вам рассказал.

XXV

Утомленный этим долгим рассказом, часто прерываемым слезами, Арман сжал руками лоб и закрыл глаза, не то задумавшись, не то пытаясь заснуть. Мне он передал листочки, исписанные рукой Маргариты.

Через несколько минут Арман начал дышать быстрее, и я решил, что он заснул, но так чутко, что мог проснуться от всякого шума.

Вот что я прочел и переписал без всякого изменения:

«Сегодня пятнадцатое декабря. Я больна уже три или четыре дня. Сегодня утром я слегла в постель. На дворе пасмурно, на душе печально, около меня нет никого, я думаю о вас, Арман. Где вы теперь, когда я пишу эти строки? Далеко от Парижа, очень далеко, как мне говорили, и, может быть, уже забыли Маргариту. Будьте счастливы, вам я обязана единственными счастливыми моментами своей жизни.

Я должна была вам дать объяснение своего поведения и написала письмо, но письмо, написанное такой девушкой, как я, могло показаться ложью. Только смерть может освятить его своим авторитетом, оно перестанет быть простым письмом и станет исповедью.

Я больна и могу умереть от этой болезни, – у меня всегда было предчувствие, что я умру молодой. Моя мать умерла от чахотки, мой образ жизни мог только усилить эту болезнь – единственное наследство, которое я получила от матери, но я не хочу умереть, прежде чем вы не узнаете, как вам относиться ко мне в том случае, если вы по возвращении будете еще интересоваться бедной девушкой, которую любили перед отъездом.

Вот что было в том письме, которое я с наслаждением повторяю, чтобы снова оправдаться в своих собственных глазах.

Вы помните, Арман, как приезд вашего отца встревожил нас в Буживале, вы помните невольный ужас, который мне причинил этот приезд, объяснение, которое произошло у вас с ним и о котором вы мне рассказывали вечером.

На следующий день, когда вы были в Париже и ждали отца, ко мне пришел какой-то человек и передал письмо от господина Дюваля.

В этом письме, которое я прилагаю здесь, заключалась серьезная просьба под каким-нибудь предлогом удалить вас на завтра из дому и принять вашего отца. Он должен был со мной поговорить и убедительно просил меня ничего вам не рассказывать о его письме.

Вы помните, как настойчиво я вам советовала снова поехать в Париж на следующий день.

Через час после вашего отъезда приехал ваш отец. Не буду вам рассказывать, какое впечатление произвел на меня его суровый вид. Ваш отец пропитан старыми теориями, согласно которым все куртизанки бессердечны и глупы: нечто вроде автоматов для получения денег, всегда готовые, как железные машины, раздавить руку, которая им протягивает что-нибудь, и безжалостно, бессердечно растерзать того, кто их поддерживает.

Ваш отец очень вежливо просил меня в письме принять его, на самом деле он не был таким, как в письме. В его первых словах была надменность, гордость и даже угроза, и я должна была ему напомнить, что я у себя дома, что только искренняя привязанность к его сыну заставляет

меня давать ему отчет в своих действиях.

Господин Дюваль немного успокоился, но, однако, заявил мне, что он не может больше терпеть, чтобы его сын разорялся из-за меня. Я красива, это правда, но, как бы я ни была красива, я не должна своей красотой губить будущее молодого человека, вводя его в громадные расходы.

На это я могла дать только один ответ, не правда ли? Представить ему доказательства, что с тех пор, как я стала вашей любовницей, никакая жертва меня не устрашала, лишь бы остаться вам верной и не брать у вас больше денег, чем вы могли дать. Я показала квитанции из ломбарда, расписки тех людей, которым я продала вещи, не принятые в заклад, рассказала о своем решении продать всю свою обстановку, чтобы заплатить долги и жить с вами, не будучи вам в тягость. Я рассказала о нашем счастье, о том, что вы мне открыли жизнь спокойную и счастливую, и в конце концов он поверил очевидности, протянул мне руку и попросил у меня извинения за свое поведение.

Потом он сказал:

«Теперь, сударыня, я попытаюсь не упреками и угрозами, а просьбами добиться от вас жертвы, превышающей все другие жертвы, которые вы до сих пор приносили моему сыну».

Я задрожала при этом предисловии.

Ваш отец приблизился ко мне, взял обе мои руки и продолжал серьезным голосом:

«Дитя мое, пожалуйста, не истолкуйте в дурную сторону то, что я вам скажу. Поймите только, что жизнь ставит иногда нашему сердцу суровые задачи, но их нужно выполнять. Вы добрая, и ваше сердце способно на великодушие, незнакомое многим другим женщинам, которые, может быть, и презирают вас, но недостойны сравняться с вами. Но подумайте только: кроме любовницы есть еще семья, кроме любви есть обязанность. После возраста, когда господствуют страсти, наступает другой возраст, когда человек должен занять серьезное положение в обществе, должен заслужить уважение. У моего сына нет состояния, но он хочет пожертвовать для вас наследством матери. Если он примет от вас дар, который вы хотите ему принести, честь и достоинство обязывают его обеспечить вас на случай несчастья. Но он не может принять вашей жертвы, потому что свет, которого вы не знаете, истолкует превратно его согласие и запятнает наше имя. Никто не поинтересуется спросить себя, любит ли вас Арман и любите ли вы его, является ли эта взаимная любовь счастьем для него и спасением для вас. Все отметят только то, что Арман Дюваль позволил своей содержанке, – простите, дитя мое, за все, что я вам должен сказать, – продать для него все, что у нее было. Наступит когда-нибудь день упреков и сожаления, будьте уверены, что и для вас этот день настанет, и вы оба окажетесь скованными цепью, которую не сумеете порвать. Что вы будете тогда делать? Ваша молодость будет потеряна, будущее моего сына разрушено, а я, его отец, получу благодарность только от одного из своих детей, а ждал от обоих.

Вы молоды, красивы, жизнь вас утешит. У вас благородное сердце, и воспоминание о хорошем поступке искупит для вас многое в прошлом. За те полгода, что Арман знаком с вами, он забыл меня. Я писал ему четыре раза, а он и не подумал мне ответить. Я мог умереть, и он не узнал бы этого!

Даже если бы вы приняли решение жить иначе, чем вы жили до сих пор, Арман, с его любовью к вам, не допустит затворничества, на которое вас обрекают его скромные средства и для которого не создана ваша красота. Неизвестно, что он предпримет! Он играл, я знаю, он ничего вам об этом не говорил, я это тоже знаю, и в момент опьянения он мог потерять часть того, что я собирал долгие годы в приданое своей дочери, для него и на свою старость. То, что могло случиться раньше, мо-

жет случиться в будущем. А уверены ли вы в том, что жизнь, которую вы покинете для него, не прельстит вас снова?

Уверены ли вы в том, что, полюбив его, вы не полюбите никого другого? А может быть, вы будете страдать от оков, которые ваша связь наложит на жизнь вашего любовника, и не сумеете его утешить, если с течением лет грезы любви сменятся честолубием? Подумайте обо всем этом, сударыня. Вы любите Армана, докажите это ему единственным способом, который вам остается: пожертвуйте ради его будущего вашей сегодняшней любовью. Никакого несчастья еще не произошло, но оно произойдет, и, может быть, даже еще большее, чем я предвижу. Арман может приревновать человека, который вас любил, он может его оскорбить, вызвать на дуэль, быть убитым. Подумайте, как вы ответите отцу за жизнь сына?

В конце концов, дитя мое, не скрою от вас последней причины моего приезда в Париж. У меня есть дочь, я вам уже говорил, молодая, красивая, чистая, как ангел. Она любит, и ее любовь для нее тоже весь смысл жизни. Я писал все это Арману, но, занятый вами, он мне не ответил. Моя дочь собирается замуж. Она выходит за любимого человека, вступает в достойную семью, которая требует, чтобы все было так же достойно и в моей семье. Родные моего будущего зятя узнали о том, как Арман живет в Париже, и объявили мне, что возьмут свое слово обратно, если Арман будет продолжать эту жизнь. Будущее ребенка, который вам ничего не сделал, в ваших руках.

Чувствуете ли вы право и силу сломать его? Умоляю вас во имя вашей любви и вашего раскаяния, Маргарита, не нарушайте счастья моей дочери...»

Я молча плакала, мой друг, перед всеми этими доводами, которые я сама себе часто приводила и которые в устах вашего отца получали еще большую определенность. Я говорила себе все то, что ваш отец не решился мне сказать и что часто просилось у него на язык: что я все-таки содержанка и, как бы ни оправдывала нашу связь, она всегда будет носить характер расчета, что моя прошлая жизнь не дает мне никакого права мечтать о подобном счастье и что я брала на себя ответственность, которая шла вразрез с моими привычками и моей репутацией. Я любила вас, Арман. Отецеская манера разговора, чистые чувства, которые господин Дюваль пробуждал во мне, уважение этого старика, которое я заслужила, ваше уважение, в котором я была уверена, – все это вызывало в моем сердце благородные чувства. Они возвышали меня в моих собственных глазах и рождали незнакомые до тех пор святые стремления. Когда я думала, что этот старик, который вымаливал у меня будущее своего сына, велит когда-нибудь своей дочери упоминать мое имя в своих молитвах, как имя неизвестного друга, я вся преображалась и гордилась собой.

Острота момента, может быть, усиливала мои подлинные чувства, но я это действительно испытывала, мой друг. И эти новые чувства заставляли умолкнуть возражения, которые мне нашептывали воспоминания о счастливых днях, проведенных с вами.

«Хорошо, – сказала я вашему отцу, вытирая слезы. – Вы верите, что я люблю вашего сына?»

«Да», – сказал господин Дюваль.

«Бескорыстной любовью?»

«Да».

«Верите вы, что в этой любви заключались для меня все надежды, мечты и оправдание моей жизни?»

«Твердо верю».

«Ну так поцелуйте меня, как вы поцеловали бы вашу дочь, и клянусь вам, что этот поцелуй, единственно чистый поцелуй за всю мою жизнь, даст мне силы бороться с моей любовью и что раньше чем через неделю ваш сын вернется к вам. Он будет страдать некоторое время, но будет исцелен на всю жизнь».

«У вас благородное сердце, – сказал ваш отец, целуя меня в лоб. – Бог вас вознаградит за ваше намерение, но я боюсь, что вы не справитесь с моим сыном».

«О, будьте спокойны, он будет меня ненавидеть!»

Нужно было создать между нами какую-нибудь непроходимую преграду – как для одного, так и для другого.

Я написала Прюданс, что принимаю предложение графа П., и просила ему передать, что буду ужинать с ним и с ней.

Я запечатала письмо и просила вашего отца, не говоря ему о его содержании, передать его по назначению по приезде в Париж.

Он спросил меня о содержании. «Дело идет о счастье вашего сына», – ответила я.

Ваш отец поцеловал меня в последний раз. Я почувствовала на своем лбу слезы благодарности, которые как бы искупали ошибки моего прошлого, и в тот момент, когда я согласилась отдаться другому человеку, я сияла от гордости, думая о том, что я покупала этой дорогой ценой.

И это было вполне понятно, Арман; вы говорили мне, что ваш отец – самый честный человек на свете.

Господин Дюваль сел в экипаж и уехал.

Но я – женщина, и когда вас увидела, не могла удержаться от слез, но не забыла все-таки своего решения.

«Хорошо ли я сделала?» – вот какой вопрос я задаю себе теперь, когда лежу больная в постели, из которой уже не поднимусь.

Вы были свидетелем, что я испытывала по мере приближения часа нашей неизбежной разлуки. Вашего отца не было тут, и он не мог меня поддержать. Была минута, когда я была готова во всем вам признаться, так я боялась, что вы меня будете ненавидеть и презирать.

Вы не поверите, может быть, Арман, но я просила у Бога сил. Он принял мою жертву и дал мне силы.

За ужином мне тоже нужна была помощь, я не хотела думать о том, что мне предстоит, – я так боялась, что мужество мне изменит!

Кто бы мог подумать, что я, Маргарита Готье, буду так страдать при одной мысли о новом любовнике?

Я напилась, чтобы забыть, а на другой день проснулась в постели графа.

Вот вам вся правда, мой друг, судите и простите, как я простила вам все зло, которое вы мне причиняли с тех пор.

XXVI

То, что было после этой роковой ночи, вы знаете не хуже меня, но вы не знаете, вы не можете знать, что я выстрадала после нашей разлуки.

Я узнала, что ваш отец увез вас, но я не сомневалась, что вы не сумеете долго прожить вдали от меня. В тот день, когда я встретила вас на Елисейских полях, я была взволнована, но не удивлена.

Тогда начался целый ряд дней, из которых каждый приносил мне новое оскорбление от вас, оскорбление, которое я принимала почти с радостью, так как оно являлось доказательством вашей любви ко мне, и, кроме того, мне казалось, что чем больше вы меня преследуете, тем больше я вырасту в ваших глазах в тот день, когда вы узнаете правду.

Не удивляйтесь этому радостному мученичеству, Арман. Ваша любовь открыла мое сердце благородному восторгу.

Однако я не сразу окрепла.

Между моментом принесения жертвы и вашим приездом прошло довольно долгое время, в течение которого мне необходимо было напрягать все свои силы, чтобы не сойти с ума и не замечать жизни, в которую я бросилась. Прюданс вам рассказывала, не правда ли, что я бывала на всех празднествах, на всех балах, на всех оргиях?

Я как бы надеялась поскорее убить себя этими излишествами, и, по-видимому, эта надежда скоро оправдается. Мое здоровье все ухудшалось и ухудшалось, и в тот день, когда я послала к вам мадам Дювернуа просить пощады, и душа и тело мои были совершенно измучены.

Я не буду вам напоминать, Арман, как вы вознаградили последнее доказательство любви, которое я вам дала, каким оскорблением вы выгнали из Парижа умирающую женищину, которая не могла противостоять вашему желанию провести с ней ночь любви. Как безумная, поверила она на минуту, что можно спаять прошлое и настоящее. Вы имели право, Арман, поступать так, как вы поступали: мне не всегда платили так дорого за мои ночи!

Я все бросила тогда. Олимпия меня заменила у графа N. и, как говорят, объяснила ему причины моего отъезда. Граф Г. был в это время в Лондоне. Он принадлежит к тем людям, которые смотрят на любовь к таким женищинам, как я, как на приятное времяпрепровождение, остаются друзьями тех женищин, которыми обладали, и никогда не испытывают ненависти, потому что никогда не знали ревности, он принадлежит, наконец, к тем вельможам, которые раскрывают нам наполовину свое сердце, но весь свой кошелек. И о нем я прежде всего подумала и отправилась к нему. Он принял меня прекрасно, но был в это время любовником светской женищины и боялся себя скомпрометировать близким знакомством со мной. Он меня познакомил со своими друзьями, они мне устроили ужин, после которого один из них меня увез.

Что мне было делать, мой друг?

Покончить с собой? Но это наложило бы бесполезное бремя на вашу жизнь, которая должна быть счастливой. К тому же зачем кончать с собой, когда и без того смерть близка.

Я стала бездушным телом, бессмысленной вещью, я прожила некоторое время такой жизнью автомата, потом вернулась в Париж и спросила о вас. Мне сказали, что вы уехали в далекое путешествие. У меня не было больше никакой поддержки. Моя жизнь стала снова такой, какой она была за два года перед нашим знакомством. Я пыталась вернуть герцога, но я слишком жестоко оскорбила этого человека, а старики не отличаются терпением, вероятно, потому, что не сознают свою недолговечность. Моя болезнь с каждым днем все усиливалась, я была бледна, печальна, еще больше похудела. Мужчины, которые покупают любовь, исследуют товар, прежде чем взять его. В Париже нашлись более здоровые женищины, меня стали забывать. Вот вам мое прошлое до вчерашнего дня.

Теперь я совершенно больна. Я написала герцогу и просила у него денег, потому что у меня ничего нет, а кредиторы вернулись и с ожесточением подают мне свои счета. Не знаю, ответит ли мне герцог. Почему вас нет в Париже, Арман? Вы бы приходили ко мне, и ваши посещения приносили бы мне утешение.

20 декабря.

Ужасная погода, идет снег, я одна дома. У меня была такая сильная лихорадка три дня, что я не могла вам написать ни слова. Ничего нового, мой друг. Каждый день я бессознательно жду письма от вас, но его нет и, наверное, не будет. Только мужчины имеют силу не прощать. Герцог мне не ответил.

Прюданс снова начала ходить по ломбардам.

Я не перестану харкать кровью. Вам было бы больно меня видеть. Вы – счастливец: находитесь под жарким небом, а мне предстоит ледяная зима, которая давит мне грудь. Сегодня я немного вставала и через занавески на окнах видела парижскую жизнь, с которой я уж совсем покончила. Прошло несколько знакомых, быстро, весело, беззаботно. Никто не поднял глаз на мои окна. Правда, несколько молодых людей заходили справляться о моем здоровье. Я была уже раз больна, и вы, не зная меня, выслушав от меня только дерзости в день нашего первого знакомства, приходили каждый день узнавать о моем здоровье. Теперь я снова больна. Мы провели вместе полгода. Я питала к вам такую любовь, какую только может вместить и дать сердце женищины, а вы все-таки далеко, проклинаете меня и не шлете мне ни слова утешения. Но я уверена, что эта заброшенность только дело случая. Если бы вы были в Париже, вы бы не отходили от моего

28 декабря.

Доктор не позволяет мне писать каждый день. И действительно, воспоминания только усиливают у меня жар, но вчера я получила письмо, которое мне было приятно, не столько из-за чувств, которые в нем выражены, сколько той материальной помощи, которую оно мне принесло.

«Сударыня!

Я узнал только что о вашей болезни. Если бы я был в Париже, я сам зашел бы вас навестить. Если бы мой сын был здесь, я бы его послал к вам, но я не могу уехать из С., а Арман в шестистах – семистах милях отсюда. Позвольте же мне написать вам, как меня удручает ваша болезнь, и поверьте моим искренним молитвам о вашем скором выздоровлении.

Один из моих ближайших друзей, господин Х., зайдет к вам. Пожалуйста, примите его. Я ему дал поручение и горю нетерпением узнать результаты.

Примите, сударыня, уверения в моих самых искренних чувствах».

Вот такое письмо я получила. У вашего отца благородное сердце, мой друг, любите его. Мало таких достойных людей на свете. Эта бумажка с его подписью принесла мне больше облегчения, чем все рецепты нашего великого доктора.

Сегодня утром приходил господин Х. По-видимому, он был очень смущен деликатным поручением, которое ему дал господин Дюваль. Он принес мне тысячу экю от вашего отца. Я хотела сначала отказаться, но господин Х. сказал мне, что этот отказ оскорбит господина Дюваля, который ему поручил передать мне эту сумму и доставлять мне все по мере надобности. Я приняла эту услугу, которая конечно не была милостыней. Если я умру, прежде чем вы вернетесь, покажите вашему отцу, что я написала о нем, скажите ему, что, набрасывая эти строки, бедняжка, которую он удостоил своим письмом, проливала слезы благодарности и молилась за него Богу.

4 января.

У меня было несколько очень тяжелых дней. Я не знала, что тело может доставлять такие страдания. О, мое прошлое! Теперь я вдвойне его оплачиваю.

Около меня дежурили целые ночи напролет. Я не могла дышать. Бред и кашель раздирали на части остаток моей прежней жизни.

Моя столовая переполнена конфетами, всякими подарками, которые мне принесли мои друзья. Наверное, среди них есть такие, которые надеются, что я буду их любовницей. Если бы они видели, что болезнь сделала со мной, они бы бежали испуганные. Прюданс делает новогодние подарки теми вещами, которые я получила.

На дворе подморозило, и доктор сказал мне, что я сумею выйти через несколько дней, если хорошая погода продержится.

8 января.

Вчера я выезжала в экипаже. Была чудесная погода. На Елисейских полях гуляла масса народа. Можно было подумать, что это первая улыбка весны. Все было празднично вокруг меня. Я никогда не подозревала, что в одном солнечном луче можно найти столько радости, кротости, утешения.

Я встретила почти всех своих знакомых, веселых, занятых своими развлечениями. Сколько

Дама с камелиями
Александр Дюма-сын

счастливицев, которые даже не сознают своего счастья! Олимпия проехала в красивом экипаже, который ей подарил граф N. Она хотела меня оскорбить взглядом. Она не знает, насколько я далека от всей этой суеты. Один молодой человек, мой давнишний знакомый, спросил меня, не хочу ли я поужинать с ним и с его приятелем, который жаждет, по его словам, со мной познакомиться.

Я печально улыбнулась и протянула ему горячую руку. Никогда я не видела более удивленного лица. Я вернулась в четыре и пообедала с аппетитом.

Эта прогулка на меня хорошо подействовала.

Неужели я поправлюсь!

Окружающая жизнь и чужое счастье заставляют жаждать жизни. А ведь только накануне, в глубине души, в тиши комнаты, где я болела, я желала смерти.

10 января.

Надежда на выздоровление оказалась только моей мечтой. Я снова в постели, вся в компрессах, которые жгут мне тело. Попробуй-ка предложить теперь кому-нибудь свое тело, за которое так дорого платили раньше. Что тебе дадут за него сегодня?

Должно быть, мы сильно согрешили до нашего рождения или испытываем большое блаженство после нашей смерти, раз Господь Бог заставляет нас в этой жизни претерпеть все муки искупления и все горести испытания!

12 января.

Я все еще больна.

Вчера граф N. прислал мне денег, я не приняла. Я ничего не хочу от этого человека. Он виноват в том, что вас нет около меня.

Ах, счастливые дни нашей жизни в Буживале! Где вы?

Если я выйду живая из этой комнаты, я предприму паломничество в дом, где мы жили вместе, и уйду оттуда уже мертвая.

Не знаю, сумею ли я вам завтра написать.

25 января.

Я не спала одиннадцать ночей, задыхалась все время и каждую минуту ждала смерти. Доктор не позволил мне прикасаться к перу. Жюли Дюпре, которая за мной ухаживает, позволила мне написать вам эти несколько строк.

Неужели вы не вернетесь раньше, чем я умру? Неужели навеки все кончено между нами? Мне кажется, если бы вы приехали, я бы выздоровела. Зачем выздоравливать?

28 января.

Сегодня утром я проснулась от большого шума. Жюли, спавшая у меня в комнате, бросилась в столовую. Я слышала мужские голоса. Жюли никак не могла их переспорить. Она вернулась в слезах.

На все вещи были наложены печати. Я сказала ей, чтобы она не мешала им совершать правосудие. Пристав вошел в мою комнату в шляпе. Открыл все ящики, переписал все вещи и, казалось, не замечал, что умирающая лежит в постели, которую милосердный закон, к счастью, не вытаскивает из-под нее.

Он подошел и сказал мне, что я могу опротестовать это решение в течение девяти дней, и оставил сторожа. Что со мной будет, Бог мой! Эта сцена еще усилила мою болезнь. Прюданс хотела просить денег у друга вашего отца, но я воспротивилась этому.

Сегодня утром я получила ваше письмо. Мне оно было необходимо. Получите ли вы вовремя мой ответ? Увидимся ли мы? Сегодняшний счастливый день заставляет меня забыть последние шесть недель. Мне кажется, что я поправилась, несмотря на печальное настроение, под впечатлением которого я вам отвечала.

Все-таки нельзя вечно быть несчастной.

Подумать только, что я, может быть, не умру, вы вернетесь, я снова увижу весну, вы опять меня будете любить, и снова повторится наша прошлогодняя жизнь.

Какая я глупая! Я с трудом могу держать перо, которым пишу вам этот безумный бред моего сердца.

Что бы там ни случилось, я вас очень любила, Арман, и я давно уже умерла бы, если бы меня не поддерживали воспоминания об этой любви и какая-то смутная надежда увидеть вас около меня.

4 февраля.

Граф Г. вернулся. Любовница обманула его. Он очень грустен, так как очень любил ее. Он все мне рассказал. Обстоятельства его довольно плохи, но все-таки он заплатил пристава и прогнал сторожа.

Я говорила ему о вас, он обещал поговорить с вами обо мне. В эти минуты я забывала, что была его любовницей, и он старался дать мне возможность забыть! У него хорошее сердце.

Герцог присылал узнать о моем здоровье, а сегодня приходил сам. Я не знаю, как живет этот старик. Он пробыл у меня три часа и не сказал со мной и двадцати слов. Когда он увидел мое бледное лицо, две большие слезы скатились у него по щекам. Вероятно, он плакал, вспомнив о своей дочери. Он во второй раз переживал ее смерть. Спина его согнулась, голова клонится к земле, губа отвисла, взгляд потух. Возраст и горе давят двойным бременем на его изможденное тело. Он не сделал мне ни одного упрека. Казалось, что он втайне наслаждался разрушением, которое во мне совершила болезнь. Он как бы гордился тем, что держится на ногах, тогда как я, молодая, в когтях у болезни.

Вернулись плохие времена. Никто ко мне не приходит. Жюли проводит около меня все свое свободное время. Прюданс, которой я не могу теперь давать столько денег, сколько давала раньше, выдумывает всякие предлоги, чтобы не приходить.

Теперь, когда я близка к смерти, что бы там ни говорили доктора, которых у меня много, что доказывает усиление болезни, – теперь я почти жалею, что послушалась вашего отца. Если бы я знала, что отниму у вас только год вашей будущей карьеры, я не могла бы устоять против желания провести этот год с вами и тогда бы умерла, держа руку друга в своих руках. Но, конечно, если бы мы прожили этот год вместе, я бы не умерла так скоро.

Да будет воля Господня.

5 февраля.

Арман, где вы? Я страдаю ужасно, я умираю, о боже! Я была так печальна вчера, что не хотела дома провести вечер, который обещал быть таким же долгим, как все предыдущие. Утром приходил герцог. Вид этого старика, забытого смертью, как бы ускоряет мою смерть.

Несмотря на жар, сжигавший меня, я решила одеться и поехала в «Водевиль». Жюли одела меня в красное платье, иначе я была бы похожа на труп. Я пошла в ту ложу, где назначила вам наше первое свидание, все время я не сводила глаз с того места, которое вы занимали в тот вечер и на котором вчера сидело какое-то чудовище, которое шумно смеялось на все глупые шутки актеров. Я вернулась домой полумертвая. Всю ночь я кашляла и харкала кровью. Сегодня я уже не могу говорить и с трудом поднимаю руки. Боже, Боже, я умираю. Я ждала этого, но не думала, что можно еще больше страдать, чем я страдаю, и если...»

Дальше ничего нельзя было разобрать из того, что писала Маргарита, и продолжала уже Жюли Дюпре.

18 февраля.

«Господин Арман,

С того дня, как Маргарита пожелала пойти в театр, ей становилось все хуже и хуже. Она совершенно потеряла голос и возможность двигаться. Нельзя передать страдания, которые приходится ей выносить. Я не привыкла к таким переживаниям и боюсь их.

Мне бы очень хотелось, чтобы вы были около нее! Она почти все время бредит, но и в бреду и в сознании она все время произносит ваше имя.

Доктор мне сказал, что она не долго протянет. С тех пор, как она так больна, старый герцог больше не приходит. Он сказал доктору, что это зрелище его расстраивает.

Мадам Дювернуа плохо ведет себя. Эта женщина надеялась получить от Маргариты, на средства которой она жила, больше денег, сделала долги, которых она не может уплатить, и, поняв, что соседка не может ей больше помочь, перестала совсем к ней ходить. Все ее покинули. Господин Г., одолеваемый кредиторами, вынужден был уехать в Лондон. Уезжая, он прислал нам немного денег. Он сделал все, что мог, но вещи снова опечатаны, и кредиторы ждут только конца, чтобы пустить все с молотка.

Я хотела употребить свои последние средства, чтобы снять эти печати, но пристав сказал, что это бесполезно, что у него есть и другие иски. Раз она умирает, лучше все бросить, чем спасать для семьи, которую она не хотела видеть и которая ее никогда не видела. Вы не можете себе представить, среди какой раззолоченной нищеты умирает бедняжка. Вчера у нас совсем не было денег. Серебро, драгоценности, шали – все заложено, остальное или продано, или опечатано. Маргарита еще сознает то, что происходит вокруг нее, и страдает душой и телом. Крупные слезы катятся у нее по щекам, таким худым и бледным, что вы не узнали бы той, которую так любили, если бы ее увидели. Она взяла с меня обещание писать вам вместо нее, когда она будет не в силах, и я пишу около нее. Она смотрит в мою сторону, но не видит меня, ее взгляд уже обволакивает близкая смерть, однако она улыбается, и все ее мысли, вся ее душа устремлены к вам, я это знаю.

Каждый раз, как открываются двери, глаза ее проясняются и она думает, что вы войдете. Потом, когда она видит, что это не вы, ее лицо принимает прежнее страдальческое выражение, покрывается холодным потом, а к вискам приливает кровь.

19 февраля, полночь.

Какой печальный день сегодня, бедный господин Арман! Утром Маргарита задыхалась, доктор пустил ей кровь, и голос немного вернулся к ней. Доктор советовал ей послать за священником. Она согласилась, и он сам пошел за аббатом из Saint-Roch.

В это время Маргарита подозвала меня к себе, попросила открыть шкаф, показала чепчик и длинную рубашку, обшитую кружевами, и сказала ослабевшим голосом: «Я умру после исповеди, надень мне тогда эти вещи: это кокетство умирающей». Потом она меня поцеловала с плачем и добавила: «Я могу говорить, но я слишком задыхаюсь, когда говорю. Я задыхаюсь! Воздуха!»

Я разразилась слезами, открыла окно, и через несколько минут вошел аббат.

Я пошла ему навстречу.

Когда он узнал, где находится, он немного испугался дурного приема.

«Входите смелее, мой отец», – сказала я.

Он не долго оставался в комнате у больной и вышел оттуда со словами: «Она жила как грешница, но умрет как христианка».

Через несколько минут он вернулся в сопровождении мальчика, который нес распятие, и причетника, который шел впереди и звонил, возвещая, что Господь идет к умирающей. Они вошли

в эту спальню, которая слышала некогда совсем другие слова, а теперь стала святым местом.

Я упала на колени. Не знаю, как долго останется у меня в памяти впечатление, которое произвела на меня эта сцена, но не думаю, чтобы что-нибудь земное могло меня так потрясти.

Аббат помазал ноги, руки и лоб умирающей, прочел коротенькую молитву, и Маргарита была готова, чтобы вознестись на небо, куда она, наверное, вознесется, если Бог видел испытания ее жизни и святость ее смерти.

С этого момента она не произнесла ни слова и не сделала ни одного движения. Только ее дыхание говорило о том, что она жива.

20 февраля, 5 час. вечера.

Все кончено.

Сегодня ночью, часа в два, началась агония. Ни один мученик не претерпевал таких мучений, если судить по ее крикам. Два-три раза она вставала на постели, как будто цепляясь за жизнь, которая уходила к Богу. Два-три раза назвала ваше имя, потом все смолкло, и она в изнеможении упала на постель. Безмолвные слезы полились у нее из глаз, и она умерла.

Я подошла к ней, позвала ее, она не отвечала, тогда я закрыла ей глаза и поцеловала в лоб.

Бедная, дорогая Маргарита, как бы мне хотелось, быть святой, чтобы этот поцелуй тебя вернул Богу.

Потом я ее одела, как она просила, пошла за священником в Saint-Roch, поставила две свечи и молилась два часа в церкви.

Я раздала бедным ее деньги.

Я плохо знакома с религией, но думаю, что Господь Бог признает мои слезы искренними, мою молитву пламенной, мою милостыню чистосердечной и сжалится над той, которая умерла молодой и красивой, не имея никого, кроме меня, чтобы закрыть ей глаза и похоронить ее.

22 февраля.

Сегодня были похороны. В церкви было много подруг Маргариты. Некоторые искренне плакали. Когда погребальная процессия шла по направлению к Монмартру, в ней было всего двое мужчин, граф Г., который специально по этому случаю приехал из Лондона, и герцог, которого вели под руки два лакея.

Я записываю все эти подробности у нее в квартире, слезы застилают мне глаза, передо мной печально горит лампа и стоит обед, к которому я не притронулась, конечно, но который Панина заказала для меня, потому что я уже больше суток ничего не ела.

В моей памяти недолго удержатся эти печальные впечатления, потому что моя жизнь так же мало принадлежит мне, как жизнь Маргариты принадлежала ей. Поэтому-то я и описываю вам все подробно из опасения, что после долгого разрыва между этими событиями и вашим возвращением я не сумею быть вполне точной».

XXVII

– Вы прочли? – спросил Арман, когда я окончил чтение этой рукописи.

– Теперь я понимаю ваши страдания, мой друг, если правда все то, что я прочел!

– Отец подтвердил мне это в своем письме.

Мы разговаривали еще некоторое время о печальной судьбе Маргариты, и я вернулся домой немного отдохнуть.

Арман был по-прежнему печален, но немного успокоился, рассказав мне всю историю. Он быстро поправился, и мы вместе пошли к Прюданс и к Жюли Дюпре.

Прюданс обанкротилась. Она обвиняла в этом Маргариту. Во время ее болезни она ей давала

взаймы много денег, которые сама брала под векселя и не сумела выплатить. Маргарита умерла, не вернув ей ничего и не выдав ей расписок, которые она могла бы представить в доказательство долга.

При помощи этой басни, которую мадам Дювернуа рассказывала повсюду, чтобы оправдать свои плохие дела, она выжала тысячу франков у Армана. Он ей не поверил, но сделал вид, что верит, из уважения к памяти своей любовницы.

Потом мы пошли к Жюли Дюпре, она нам рассказала о печальных событиях, свидетельницей которых была, и, проливая искренние слезы, вспоминала свою подругу.

Наконец, мы отправились на могилу Маргариты, где под первыми лучами солнца раскрылись первые почки.

Арману оставалось выполнить последнюю обязанность – отправиться к отцу. Он хотел, чтобы я поехал с ним.

Мы приехали в С., и я увидел господина Дюваля. Таким я себе и представлял его по описаниям сына: высокого роста, почтенным, любезным.

Он встретил Армана со слезами счастья и сердечно пожал мне руку. Было понятно, что отцовские чувства не могут не победить даже у податного инспектора.

У его дочери Бланш был ясный взгляд и чистые, мягкие очертания лица. Только чистые мысли рождались у нее и благочестивые слова произносились ее устами.

Она улыбалась брату, не зная в своей невинности, что далеко отсюда какая-то куртизанка пожертвовала своим счастьем при одном упоминании ее имени.

Я пробыл некоторое время в этой счастливой семье, всецело отдавшейся тому, кто принес сюда свое выздоравливающее сердце.

Вернувшись в Париж, я записал эту историю так, как она была мне рассказана. У нее есть только одно достоинство, которое тоже, может быть, будут оспаривать, – это ее правдивость.

Я не делаю из этой истории вывода, что все девушки, подобные Маргарите, способны сделать то, что сделала она. Я далек от этого. Но я убедился, что одна из них испытала в своей жизни серьезную любовь, она страдала от этой любви и умерла от нее. Я рассказал читателю то, что узнал. Это был мой долг.

Я не апостол порока, но я всегда и всюду буду стараться отличать благородное страдание.

История Маргариты, повторяю это, является исключением, впрочем, если бы она была общим явлением, о ней не стоило бы и говорить.

А. ДЮМА

Самый известный роман французского писателя Александра Дюма-сына о любви, жизни и гибели знаменитой парижской куртизанки. Предваряют роман страницы из книги Андре Моруа «Три Дюма» и воспоминания Жюль Жанена, театрального критика, писателя, члена Французской академии, о встречах с Мари Дюплесси – прототипом героини романа.

ЛЕНИНГРАД
«МАНСАРДА»
СП „СМАРТ”
1991

Дюма Александр.

Д96 Дама с камелиями. – Ленинград: «Мансарда», СП «СМАРТ», 1991 – 192 с.

ISBN 5-7078-0074-3

перевод романа – С.Антик

Д 4703010100-001 без объявл. 84.4Фр Составитель В. Г. Максимов Художник Н. Н. Гульковский Перевод с французского

Литературно-художественное издание

ДЮМА Александр

ДАМА С КАМЕЛИЯМИ

Редактор *О. В. Даетян*, Технический редактор *Л. П. Никитина*. Корректор *Н. Г. Ковенская* И Б № Н/К Сдано в набор 06.02.91. Подписано к печати 03.04.91. Формат 84X1087зг. Бумага тип. № 2. Гарн. литерах. Печать высокая. Тираж 100 000 экз. Заказ № 825,

Цена 3 р. 50 к.

СП «СМАРТ», 190000, Ленинград, Адмиралтейский пр., д. 8/1

Отпечатано с готовых диапозитивов, в типографии им. Володарского Лениздата, 191021 Ленинград, Фонтанка, 57,

© В. Г. Максимов, составление, Д 4703010100-001 без объявл. 1991

ISBN 5-7078-0074-3